

**ПУСТЬ
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
ПАМЯТИ О
РАТНОМ
ПОДВИГЕ ОТЦОВ
ОСЕНЯЕТ
ПУТЬ МОЛОДЫХ!**

№ 16 АВГУСТ 1975

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА



СМЕНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕКОРДА

**Опыт стахановского движения
живет в делах молодых рабочих
девятой пятилетки.**

**Молодежь Страны Советов активно
включилась в социалистическое
соревнование за право подписать
рапорт Ленинского комсомола
XXV съезду КПСС.**



**Алексей
Григорьевич
СТАХАНОВ**



**Беседуют
Геннадий ХАНИН,
первый секретарь Донецкого
областного комитета
комсомола Украины,
член ЦК ВЛКСМ, и
Анатолий ОСЫКА,
забойщик шахты «Булавинская»
комбината
«Орджоникидзеуголь»,
кавалер ордена Трудового
Красного Знамени,
лауреат премии
Ленинского комсомола,
член ЦК ВЛКСМ**



Алексей Стаханов, забойщик шахты «Центральная—Ирмино», выдал нагору 102 тонны угля. 14 сменных норм. Такого еще не знал мир. Это было в ночь с 30 на 31 августа 1935 года. И сегодня мы отмечаем 40-летие выдающегося рекорда.

Событие это было главной, но не единственной темой диалога Геннадия Ханина и Анатолия Осыки.

ХАНИН. И слышал и читал я о Стаханове много. А по-настоящему узнал этого человека, открыл его для себя четыре года назад, на I Всесоюзной встрече трудовых династий рабочего класса и колхозного крестьянства. Алексей Григорьевич был организатором этой встречи: приехал раньше всех, готовил, готовился сам. Мы много говорили с ним о работе, о жизни. Вопросы мои, я думаю, угадать нетрудно, но вот ответы Алексея Григорьевича, по крайней мере некоторые из них, я хотел бы привести. «Трудовой наш мир изменился,— говорил Стаханов.— Изменился здоро-

во... и остался таким же! Молодым остался. Энергичным. Инициативным!» Очень точно сказано. Вот слышим мы по радио, например: комсомольско-молодежная бригада монтажников передала металлургам «Криворожстали» символический ключ от «Девятки» — самой большой в мире домны. А через полгода читаем в газете: «Молодые металлурги вышли на полумиллионный рубеж». Темпы какие, а? Это ведь сила — молодость. Хотя иногда, наверное, жаль, что ты молод?..

ОСЫКА. Есть это... Знаешь, когда впервые взялся за отбойный молоток, такое чувство было: ничего мне не светит на шахте, нового слова не скажу. Вот Алексей Григорьевич Стаханов этим молотком за всех таких, как я, поработал — один раз и на всю жизнь!..

ХАНИН. «В жизни всегда есть место подвигу». Школьные учителя часто говорят это своим мальчишкам. Не раз задумывался над этой мыслью и я... Вот у вас, Анатолий, у шахтеров, одно из первых слов — «горизонт». Преж-

де чем уголек пойдет на-гора, надо подготовить горизонт. Так вот, есть ли в жизни место новому подвигу? Есть. Но нужно подготовить горизонт. Культурный. Духовный. Говорят, что это в первую очередь дело педагогов. Но учимся мы, наверное, не только в школе...

ОСЫКА. Да. Я думаю, что у нас три школы. Первая, конечно, обычная, «куда мы ребятами, с пеналами и книжками...». Вторая наша школа — это мастер. Человек, который научил тебя ремеслу. Или еще больше: РАБОТАТЬ. Алексей Григорьевич был и будет моим мастером.

ХАНИН. А третья?

ОСЫКА. Жизнь, наверное... На каком горизонте начинал Алексей Григорьевич? На 120. Рекорд — на 450. А сегодня шахтеры «Центральной» добывают уголь на отметке 900 метров. И дело не в том, что работа идет вглубь. Жизнь идет вглубь!

С чем приехал Стаханов в Кадиевку в двадцать седьмом году? С тремя классами церковноприходской

школы. Читать-писать выучился, арифметику знал, и все. А что он мог сделать: с девяти лет батрачил, в шестнадцать остался круглым сиротой. И таких, как он, на «Центральной—Ирмино» было много. Коногонами работали, тормозными — палки в колеса вставляли, когда вагонетка шла под уклон... Годами так работали. «И без большого образования можно прожить», — говорили. Сам Алексей Григорьевич одно время так думал... Поставили отбойщиком. Ходил с обушком за врубовкой, подчищал уголек там, где машина взять не смогла. Кадровые шахтеры отбивали по шесть метров пласта, а он наловчился: 11—12 метров за смену! Приходил в забой, первым делом смотрел, куда какая прожилка по пласту направляется. Опытные шахтеры называли это «кливажом». Вот в эти прожилки и направлял зубок обушка. На участке удивлялись: «Во дает!.. Откуда силы-то столько?» А дело не в силе было. В сноровке, в глазе.

Потом появился отбойный молоток. Трещит, в пласт лезет, осколки летят, глыбы вниз по лаве катятся... Да, молоток не обушок. Это он понял. Молоток — механизм! В этом и сила его и слабость... Капризничает, например. Покрутишься вокруг него и так и сяк, а только с тремя классами образования много ли сделаешь? И понял: без учебы дальше нельзя. Открылись курсы забойщиков — Стаханов записался одним из первых. А потом уже, после рекордов, поступил в Промакадемию. Это, я думаю, и нам урок...

ХАНИН. Точно. У нас, у молодежи, сейчас есть все: и новые машины и технология новая. В общем, «техмаксимум»...

ОСЫКА. Техника, технология, прогресс. Да, говорят некоторые, все это есть. И люди грамотные есть. На одной только нашей «Булавинской», к примеру, 160 человек с высшим или



Наша обложка:
Киевский
государственный
музей Великой
Отечественной
войны.



Фото Владимира
ЧЕИШВИЛИ.

Фотомерк
«Не померкнет
никогда» —
на стр. 3—7.

средним специальным образованием. Понимают, что такое происходит не только у нас. Что это результат научно-технической революции. Сейчас без науки никуда, говорят. Правильно. Все подсчитано, рассчитано, заранее предусмотрено. Можно, конечно, и перевыполнить план на сколько-то там процентов, но выше головы не прыгнешь. «Максимум прогресса» — это, мол, минимум возможностей для личной инициативы. Вот во времена Стаханова все было наоборот. Тогда только начинали осваивать технику, простор впереди был, и люди делали невозможное.

ХАНИН. Ну, это спорно... Возможное, невозможное... У стахановцев, я думаю, и слова такого не было — «невозможное». Если разобраться, то все вокруг было невозможно! Дело не в том, что технология была устаревшая или, скажем, оборудование примитивное. Нормы-то все равно были! Причем нормы, рассчитанные в соответствии с тогдашней техникой, технологией. Как во всяком производстве, как у нас, как за рубежом. И выполняли их обыкновенные люди и тут и там. Но именно в нашей стране и именно в этот момент истории, понимаешь, человек в первые ощутил, осознал и должен был показать всему миру, что он больше не наемный рабочий, не «рабсила», а строитель нового общества.

ОСЫКА. Понимаю! Открылась возможность — и даже необходимость! — перешагнуть нормы. Как, насколько перешагнуть? Это мог решить трудовой спор, социалистическое соревнование. Стахановцы перешагнули не только нормы — само представление о нормах!

ХАНИН. Они знали: главное — темпы! Техника мощная, комбайны — все это будет. И будет тем скорее, чем больше дадим стране донбасского угля. Так оно и вышло. Появились щитовые агрегаты, широкозахватные комбайны... Трудятся на них парни молодые, грамотные, вот как ты, Анатолий...

ОСЫКА. Да, отбойный молоток теперь все реже встречаешь на шахтах. Хотя, с другой стороны, в музейные экспонаты записывать его еще рано. Сам я, например, рубая молотком... У нас на «Булавинской» преобладают пласты крутого падения. Вот почему молоток до сих пор «на коне». В прошлом году я выступал на XVII съезде комсомола, говорил об этой проблеме. Пора, давно пора разработать для наших крутых пластов высокопроизводительный комплекс! Я так и сказал на съезде: «Дайте молодым забойщикам побольше новой техники, и они поставят новые рекорды угледобычи!»

ХАНИН. Кстати, о рекордах... Ты ведь в семьдесят четвертом 18 норм дал, так? В ночь с 30 на 31 августа... Совпадение не случайное. Порадовал ты Стаханова!

ОСЫКА. Когда на-гора поднялся, пионеры с цветами встречали, оркестр духовой. В Енакиеве митинг был. И письмо Алексея Григорьевича зачитывали. Я его как награду храню, как орден. «Главным по-прежнему остается инициатива людей, их энтузиазм и дух ударничества, словно эстафета, переданные новаторами 30-х годов...»

ХАНИН. На меня большое впечатление произвел рассказ Стаханова о своем рекорде. «Я до секундочки, — говорил он, — помню ту смену, ночь с 30 на 31 августа, хоть столько лет минуло. Только знаешь, я ведь не журналист. Я тебе просто расскажу, по-шахтерски. Шахта наша, понимаешь, была в глубоком прорыве. Самая отстающая в Кадиевке. Причины вроде ясные: и с лесом крепежным все в порядке, и с вывозкой угля, и с подачей сжатого воздуха к молоткам. И все-таки, чувствовал я, чего-то в этих объяснениях не хватает... Подумал-подумал, больше всего не нравятся мне порядок в лаве. Ведь как

работали? Час рубаешь, а два возишься с крепью. А если дать забойщику в помощь хорошего крепильщика, сколько «лишнего» угля нарубить можно! Можно так рвануть вперед, что шахта и с планом справится и долги ликвидирует!

В ту ночь мы спустились в забой втроем: я, Калинин и Щиголов — крепильщики. Вскоре, подсвечивая себе «надзорками», к нам пришли парторг шахты Петров и редактор нашей шахтной газеты Михайлов. И первое, что мы увидели, нет леса! Подвели нас лесогоны. Чем крепить? А ведь шила в мешке не утаишь, многие ведь знали о нашей затее. С чем поднимусь я, что скажу людям? Засмеют. Ты, скажут, на лес не сваливай, признайся лучше, что твой «метод» ни к черту не годится... У меня сердце стучало вот так! Я должен был, я обязан был сделать этот рекорд! Нашли мы лес. В забуте, в том пространстве, которое осталось после выемки угля. Осмотрел я кровлю, потом проверил магистраль, шланг, нет ли утечки воздуха. Ну, говорю, я пошел! И полетел уголек из-под молотка... О времени не думал. Рубал. Дошел незаметно до последнего уступа. Снял верхнюю пачку угля, сбил земник. И делу конец...»

И сейчас, Анатолий, я тебя хочу спросить: вот как шел на свой рекорд ты? Это же не простое дело — рекорд. Вот как ты шел? Спокойным был? Была у тебя цель, задача, «личный расчет», так сказать, или только Стаханова решил поздравить, подарок ему шахтерский сделать?

ОСЫКА. Была цель. Ее Виктор Довбыш поставил, забойщик с горловской шахты имени Изотова. «Пятилетку, — сказал он, — выполню в три с половиной года!» Прочитал я в газете его обязательства. Подумал: Довбыш, конечно, забойщик опытный, стаж у него побольше моего... Но стаж стажем, а работать мы тоже умеем. И взял обязательство: пятилетку — в три года. «Да ты что! — говорили ребята на «Булавинской». — Нет, это невозможно!» Считаю с карандашом в руках — нет, невозможно! Ну, меня такая тут злость взяла... И чтоб ни у кого больше никаких сомнений не возникало, решил: в ночь с 30 на 31 августа пойду на рекорд! Попробую повторить стахановское достижение... А на такое дело разве спокойным пойдешь? И сам волновался и крепильщики мои — Петя Падалка, Вася Короткевич, Эмиль Маргетич... Я тоже не думал о времени, когда рубал. Поднимался все выше и выше по лаве, снимая уступ за уступом. Только когда Короткевич закричал: «Конец смены! 69 «коней», Толя!» — понял: это рекорд. Потом подсчитали: сменное задание я выполнил на 1830 процентов... Молотки нынче, конечно, не те, что в тридцатые годы: мой полегче стахановского килограмма на два — на три будет. Правда, и нормы не те: у меня около 10 тонн... Да, так вот пятилетку мы с Виктором выполнили... за два с половиной! Думаю вскоре закончить десятую пятилетку. А девятую-то у нас на «Булавинской», между прочим, уже многие забойщики сделали.

ХАНИН. Вот-вот. А потом на пятки станут наступать: «Проверим тебя, пощупаем, может, ты вырвался так, случайно?» Но это шутка, конечно. Соревнование возникает! Ты вырвался — подай сигнал. Пример. Призыв: а ну, кто!..

ОСЫКА. А вот у меня к тебе «хитрый» вопрос есть. Насчет «места подвигу». У нас, у шахтеров, рекорд — его ведь «пощупать» можно, — он реален. А есть работа, где какой же рекорд?.. Учитель, например, или механик...

ХАНИН. А почему «рекорд» — категория количественная? Кто что выдает на-гора. Ты — уголь, а учитель, если такое сравнение возможно, — учеников. Сегодня он учит хорошо. А завтра должен учить отлично. И

УРОКИ ЖИЗНИ

1 Диалог первого секретаря Донецкого областного комитета комсомола Украины Геннадия ХАНИНА и забойщика шахты «Булавинская» комбината «Орджоникидзеуголь» Анатолия ОСЫКИ.

3 Владислав ЯНЕЛИС. Фото Владимира ЧЕИШВИЛИ. «НЕ ПОМЕРКНЕТ НИКОГДА».

8 Гарий НЕМЧЕНКО. «ЦЫГАНСКИЙ ОТПУСК». Рассказ.

11 НОВОЕ ИМЯ.
Стихи Олега БЕЛИКОВА.

12 ЗАВОДСКОЙ РАЙОН.
Лина ТАРХОВА. «ШКОЛЬНИКИ БЕЗ ПОРТФЕЛЕЙ».

14 ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ «СМЕНИ».

15 ПИСАТЕЛЬ, МОЛОДЕЖЬ, ПЯТИЛЕТКА.
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ. «ТРЕТИЙ СТИМУЛ».
Размышления о молодежной стройке.

16 Братья ВАЙНЕРЫ.
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Продолжение романа.

22 АВГУСТОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ.
Обзор зарубежной прессы.

24 СИЛУЭТЫ.
Владимир ГУСЕВ. «Александр Иванович ГЕРЦЕН».

27 Сергей БАРУЗДИН. Из последних стихов.
Валентин КУЗНЕЦОВ. Стихи.
Имант АУЗИНЬ. Стихи.

29 КРАСОТА РОДНОЙ ЗЕМЛИ.
Анатолий КСЕНИН. «ДЕМЬЯН».

Главный редактор А. А. ЛИХАНОВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. С. Абашин, А. П. Кулешов, В. В. Луцкий [заместитель главного редактора], В. Г. Победоносцев [ответственный секретарь], Р. И. Рождественский, Е. И. Рябчиков, Г. В. Семенов, А. П. Середа, С. С. Смирнов, А. Б. Стуков [главный художник], Д. Н. Филиппов.

Художник Г. С. Терзибашьянц. Технический редактор Г. Г. Блоцкая

воспитывать так, чтобы не только ни один шалолай из его рук не вышел, но каждый ученик стал ценнейшим человеком. Вот, говорят, стахановскому поколению повезло — они начинали. Как ты сказал, простор впереди был. А вот у нас, мол... ничего подобного. И нам дано, и нам отпущено. Простор у нас еще огромнее! Ты знаешь, сейчас идет обмен комсомольских документов. Это своего рода поверка на коммунистическую зрелость. Мне по работе очень часто среди молодежи бывать приходится. И я тебе скажу, разное в глаза бросается. Вот ты сейчас в какой пятилетке? В десятой. Это по угольку. А по-житейски, как человек? В нынешней, сегодня...

ОСЫКА. Да, пожалуй, верно. Раз зашел вперед, и жить надо там, по всем статьям впереди. Получается, нужно догонять самого себя. Вот в шестнадцать лет, когда начинал я самостоятельную жизнь, все было просто. Пошел на соседнюю с «Булавинской» шахту «Ольховатская». Разнорабочим. Кое-кто удивлялся: как же так, не мог, что ли, Иван Иосифович (это отец мой) устроить сына? Сам ведь уважаемый горняк, стахановец, ордена Ленина и Трудового Красного Знамени имеет... Да и вообще у нас, у Осык-то, все мужики, с деда начиная, шахтерами были, забойщиками. А этот чего?.. Действительно, «забой», «штрек», «куступ» — эти слова я узнал, едва «мама» научился говорить. Все это знакомое, родное, привычное... Но, понимаешь, захотел осматреться. Подняться над привычным и осматреться. Чтобы не по наследству дело принять, а выбрать его по душе. Самостоятельно. И без всяких претензий на «легкую жизнь». Вот потому и пошел в разнорабочие. А еще работал машинистом электроваза, докером, поступал в летное училище... В общем, «нашел» я себя только после двадцати. Вернулся из армии, отдохнул маленько — и на «Булавинскую». Забойщиком. Богатырская, говорят, профессия. Верно. Но не в одной силе дело. Ну, вот посмотреть на меня: силенка, конечно, есть, но что я, Илья Муромец, что ли?.. И Петр Тихонович Шустенков, учитель мой первый, говорил мне всегда: «В забое, Толя, одними руками много угля не загребешь... Голова в нашем деле нужна, знания!» Это по его совету поступил я в 1968 году в Енакиевский горный техникум. Когда получил диплом, предложили пойти горным мастером на добычный участок. Отказался. Было это в семьдесят втором, я только вступил в соревнование с Довбышем. Нет, говорю, мне молоток из рук выпускать никак нельзя! Мнения своего не переменил и через год, когда уже выполнил личную пятилетку...

ХАНИН. Так, а догонял-то, догонял себя как?

ОСЫКА. Вот я и подхожу к этому. Как соревноваться начал с Довбышем, жизнь моя стала меняться. И чем дальше, тем больше и быстрее. Конечно, на тысячу процентов норму каждый день не выполнишь. Но для того, чтобы сделать пятилетку вдвое быстрее, нужно — тут арифметика простая — давать две нормы. Ежедневно! Также, в общем, рекорды... На каждый день. И тут-то, как ты работаешь, сильно зависит от того, чем ты работаешь и с кем. Вот молотки к нам новые пришли. Конструкторы вроде как лучше хотели сделать — облегчили вес инструмента, — а получилось наоборот: молоток не рубит, а пляшет на крепких пластах. Ждать, пока эта проблема «по станциям» решаться будет? Но у меня соревнование, я слово дал! Выяснил адрес института, разработавшего «новинку», послал письмо. Все как есть написал: в таком-то отношении ваш молоток хоть куда, а в таком-то, извините, он никуда не годится... Сейчас на «Булавинскую» приходят мо-

лотки той же марки, но усовершенствованные. Ими можно работать...

У нас на участке 25 забойщиков. Хорошо или плохо работает человек рядом с тобой, тебя это в принципе по карману не бьет, главное, свое дело сделай. Но ведь душу заедает! Из-за нескольких человек участок в прошлом году пять месяцев не выполнял план. А на собраниях и совещаниях склоняли нас всех. Я удивлялся сначала: ну, почему все? Потом понял: одни виноваты, что не могут, другие — что не помогут... Подошел я к одному забойщику, другому: хочу, говорю, посмотреть, как работаешь, не возражаешь? Смотри, говорят, нам не жалко. Вижу, «садятся» некоторые на «коня», рубают все подряд. Кливаж-то тонкий идет, только-только на пику молотка, а забойщик его не различает. Ну, объясню аккуратно так, чтобы не обиделся человек. Приглашу к себе в забой. Так вот и стали, как говорится, обмениваться опытом. Без отрыва от производства... В этом году на участке с планом все нормально. Так вот и догоняем сами себя: друг друга вперед подтягиваем.

ХАНИН. Значит, все вопросы решаешь в рабочем порядке?.. Но вот кончился рабочий день, выехал ты на-гора. Умылся, переоделся, имеешь полное право посидеть дома у телевизора. Или книгу почитать, побыть в кругу семьи...

ОСЫКА. Вот именно «побыть»... Бюро обкома, заседание в горкоме, сессия поселкового Совета... «Совсем ты прозаседался», — Людмила моя говорит. В шутку, конечно. Потому что понимает: нельзя домом одним жить. Что поделаешь? Я с детства привык быть с людьми. Знаешь, какое мне первое в жизни комсомольское поручение дали? Агитатор. Почему, не знаю, много говорить никогда не любил. Однажды у нас в поселке, в Булавинке, школу нужно было отремонтировать. Мне, как депутату, перед началом работы выступать надо было, речь сказать. А я думаю: ну, чего тут говорить? Взял в руки пилу, топор да пошел рубать... Вот-и все выступление... Да, время, конечно, не резиновое. На все его не хватает. Сейчас в институт готовлюсь. За математику, физику спокоен. Литературу вот подтянуть надо. И не просто ведь чтоб сочинение написать. Чехов, Горький, Пушкин — они человеку каждый день нужны. А почитать удается не каждый...

ХАНИН. Трудно, это факт. Но так и надо жить. Наполненно, взахлеб. Видимо, это главнейшее условие. Работа, рекорды — нужно. Книги хорошие — нужно. Люди прекрасные, любовь, дружба необходимы... У тебя есть друг? Близкий, первый?

ОСЫКА. Есть. Витя Довбыш. Но дружба у нас не простая...

ХАНИН. А какая же дружба простая, если она настоящая?..

ОСЫКА. Железный человек Довбыш. На шахту он пришел после армии, по комсомольской путевке. Поработал какое-то время в забое, потом его выбрали секретарем комитета комсомола. А через год Довбыш снова просится в забой. У них там создавался новый добычный участок, который решили сделать комсомольско-молодежным. Геологические условия на участке очень трудные, и мало кто хотел переводиться туда из обжитых лав. Самого же Довбыша не отпускают: ты, говорят, работу в комитете хорошо поставил, ты здесь нужнее. Он настаивает. Ему говорят: «Ладно. Пусть решает собрание». А на собрании Виктор сказал: «Как я, ребята, могу агитировать вас за новый участок, если сам сижу в кабине?» Отпустили. Собрал Виктор толковых парней вокруг себя, и через короткое время участок стал самым передовым на шахте!

ХАНИН. Вы ведь соревнуетесь с Виктором...

ОСЫКА. И соревнуемся и помогаем друг другу. «Делимся огнем», как у нас, у шахтеров, говорят. Ездил я к нему в Горловку, смотрел, как работает. Если со стороны — как будто не спеша. Но темпа не сбавляет всю смену. Считает, что лучше уложиться в график и тогда уже обстоятельно перекурить, чем то и дело устраивать маленький роздых. А график у него такой, что каждая операция рассчитана до минуты. В бункер за смену летят 24 метра крутопадающего пласта! И Виктор у меня был в забое. Так и ездим друг к другу... А вот чтобы насовсем — я в Горловку или он в Булавинку, — не можем договориться!

ХАНИН. И оба, по-моему, правы. Ну как, скажи, расстаться человеку с родным краем, где детство его прошло, где встретил любовь, где, как говорится, нашел свою тропу!..

ОСЫКА. Вот мы говорили с тобой, на какое историческое время пришелся стахановский рекорд. Страна была молодая, как сказал Маяковский, «страна-подросток». «Подросток» стал великой державой. И в этом, наверное, разница между нашими семидесятыми и тридцатыми, стахановскими годами. Но я думаю, что на этом разница и кончается. Остался прежний энтузиазм, то же значение имеют темпы, а роль социалистического соревнования даже возросла. Оно стало подлинным рычагом всей работы, направленной на повышение эффективности производства. А эффективность производства требует учета всех факторов. И выданных на-гора тонн, и степени сохранности оборудования, и затрат всех видов энергии. Механической, электрической. И душевной... То есть минимум затрат — и максимум на-гора! Трудная задача? Очень. Но реальная, вполне выполнимая. Прежде всего потому, что не только был, но остался и останется на первом месте человек!

Особенно человек-пример. Стаханов. Мы гордимся им. Его жизнью. Его трудовым подвигом. Ну, и тем, что он горняк и земляк наш. Хотя, конечно, это уже наша личная гордость...

Рядом с его именем стоят имена других героев первых пятилеток: Изотова, Артюхова, Савченко. И у нашего поколения есть трудовые герои: Виктор Довбыш, Виктор Козилев, Валерий Дягилев. Вот как переключается время! И мы не жалеем, что нам не пришлось начинать, и гордимся, что нам доверено продолжать.

ХАНИН. И приумножать! Обязательно приумножать!

«Я счастлив, я спокоен, что нам есть смена. Любому человеку было бы грустно, горестно видеть труды свои без продолжения. Ну, представь себе: ты закладываешь сад. Сад — это одно из таких дел, которые всегда закладываются на будущее. Каково было бы человеку видеть свой сад без внимания, без ухода, без любви, без надежных рук, сменивших руки твои? И наоборот, как дорого каждый день, каждый час видеть многих молодых людей, которых, бывает, не знаешь ни по имени, ни по отчеству, но которые очень и очень близки тебе внутренне... Настолько близки, что другой раз говоришь себе: «Да это же ты, ты сам...» Так говорил Алексей Григорьевич на Первой встрече трудовых династий.

ОСЫКА. Так оно и есть. Вот решил я пойти на рекорд. И большой сырбор был. «Да не осилишь! Много хватил!» И у Довбыша, когда он давал обещание пятилетку за три с половиной выполнить, примерно такая же картина была. Но мы держались на своем. Сделаем. Поработаем по-стахановски. И это был аргумент: по-стахановски!

Беседу записал Олег ХАИМОВ.



В сентябре
этого года
в городе-герое
Волгограде
откроется

VII Всесоюзный слет победителей

походов по местам
революционной,

боевой и трудовой славы

советского народа,

посвященный

30-летию Победы.

Музей

Великой Отечественной войны

в Киеве,

о котором мы рассказываем,

создан благодаря

огромной поисковой

работе.

Верные долгу памяти,

следопыты открыли

многие прежде неизвестные

страницы минувшей войны.



ИСТОРИЯ, НАПИСАННАЯ ИХ ОТЦАМИ.

НЕ ПОМЕРКНЕТ НИКОГДА

Владислав ЯНЕЛИС.
Фото Владимира ЧЕЙШВИЛИ.
Специальные
корреспонденты «Смены».

Людмила СТАРЧЕНКО:

— Преподаю в школе математику. В музее третий раз, сегодня пришла с сыном, ему 8 лет (Антон, иди сюда). Его здесь интересуют вещи, обычные для ребят такого возраста. Полчаса не могла оторвать от самолета там, внизу. Видели? Или оружие, мальчишки просто бредят им... У меня, наверное, как у каждого взрослого, несколько иные чувства. Кание? Сразу не скажешь, это не совсем просто. Дело в том, что мой отец погиб на фронте... Мне тогда было четыре года. Я почти ничего не помню. Помню только, что, когда нам принесли «похоронку» и мама прочла ее, она потом целый день сидела на кухне, забыв о моем существовании. Отец был минометчиком и погиб под самым Берлином. Мама так и не вышла второй раз замуж. Не могла. Ну, а сейчас она уже бабушка. Сюда, наверное, много приходит таких, как я, те, у которых отцы не вернулись. Здесь я становлюсь как-то ближе к нему, понимаю. (Антон, не трогай руками...) Ну, мы пойдем, обещали бабушке не опаздывать к обеду... Да, если это для вас интересно, 5-й «а», который я веду как классный руководитель, занял первое место в школе по результатам поисковой работы. Мы собрали новые материалы о боевом пути народного ополчения нашего района. И в награду ребят назначили в почетный караул у Вечного огня.



ДИОРАМА ФОРСИРОВАНИЯ ДНЕПРА.

Улица Чекистов, 8. Большой особняк с полукруглыми окнами. Очень много людей. Утром и вечером, в непогоду и светлый день. Заявки на экскурсии принимаются за два месяца. Бывают исключения. Например, когда приезжают олениводы с Чукотки и у них вечером самолет, или пограничники откуда-нибудь с Памира, или иностранные гости.

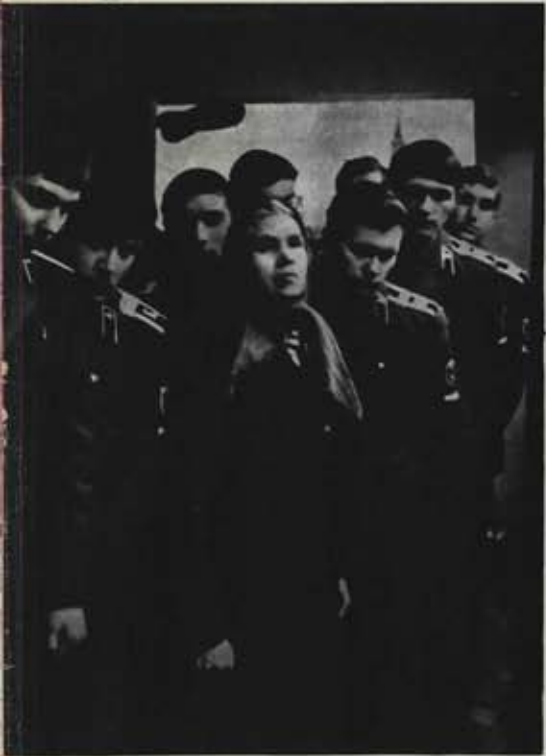
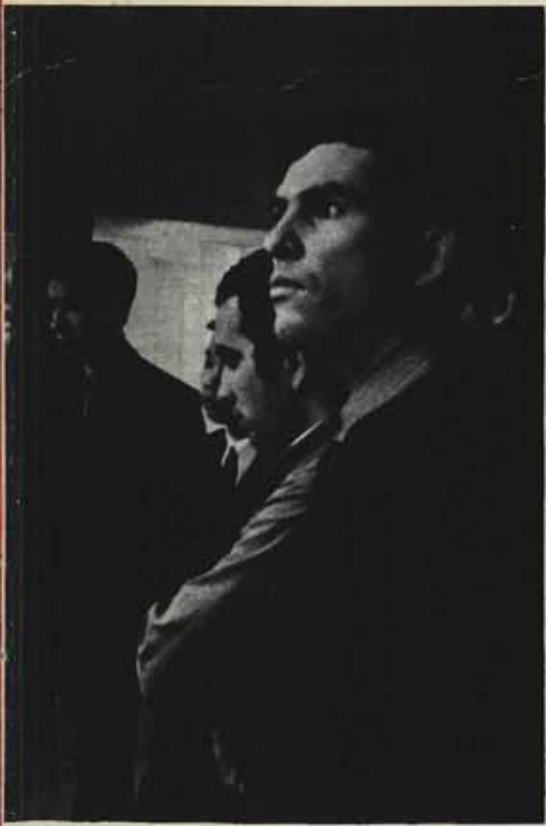
В вестибюле разговорился с седым сухощавым поляком.

Станислав ШИМАНЬСКИЙ, в Киеве проездом, воевал с гитлеровцами в составе Войска Польского, три ранения, два советских ордена, сейчас на партийной работе. Много слышал о музее, решил — сначала сюда, уж потом все остальное — Лавра, Софийский, новостройки.

Спрашиваю, почему? Он с минуту молчит, шарит по карманам, достает сигарету.

ЛЮДИ И РЕЛИКВИИ.





— Не хочу ничего забывать.

Так он и сказал. А потом добавил, что в сорок четвертом фашисты сожгли в концлагере его сестру. «На втором этаже я видел снимки этого лагеря». Это Майданек. Зал, о котором он вспомнил, обит черными панелями, неяркий рассеянный свет, застекленные, врезанные в стены экспозиции, рассказывающие о зверствах гитлеровцев. О чудовищных опытах над людьми в концлагерях, о детях, задушенных в газовых камерах, о трагедии, постигшей украинское село Корюковка, где за одну ночь каратели уничтожили 7 тысяч человек. Слева у стены — гильотина, не модель, самая настоящая, действующая. Сработавшая на совесть кем-то из палачей. С нее до сих пор не смыта человеческая кровь. До сих пор. Экспонат следующий — кусок мыла серийного производства. Небольшой, изготовленный из человеческого жира. Человеческого! Самое страшное — самое убедительное. Потому что вы это видите. Вот она, гильотина, вот оно, мыло. Это невозможно придумать, это факты.

Этот зал еще называют залом скорби, и здесь тише, чем в любом другом. Не знаю, почему я рассказал прежде всего о нем.

Если следовать пространственной логике и очередности, экспонат № 1 — «дуглас» болотно-го цвета, прилетевший сюда на собственных крыльях откуда-то с юга и из истории. Именно этот самолет с заплатами и вмятинами на фюзеляже почти каждую ночь перебрасывал в партизанский тыл оружие, продовольствие, людей, обратно брал раненых.

...Старый добрый «ЗИС». Я дежурил около него часа три, пока наконец не дождался чего хотел. К машине подошел пожилой мужчина с орденскими планками на пиджаке (в музее вообще, как правило, ветераны приходят при наградах), через все лицо шрам. Хозяйски похлопал по дверце, погладил капот, задумался. Я спросил:

— На такой воевали?

Он кивнул.

— От Москвы до Берлина проручил. В каких только переделках с ней не был! Заслуженная техника.

— Ранены?

Он провел ладонью по лицу.

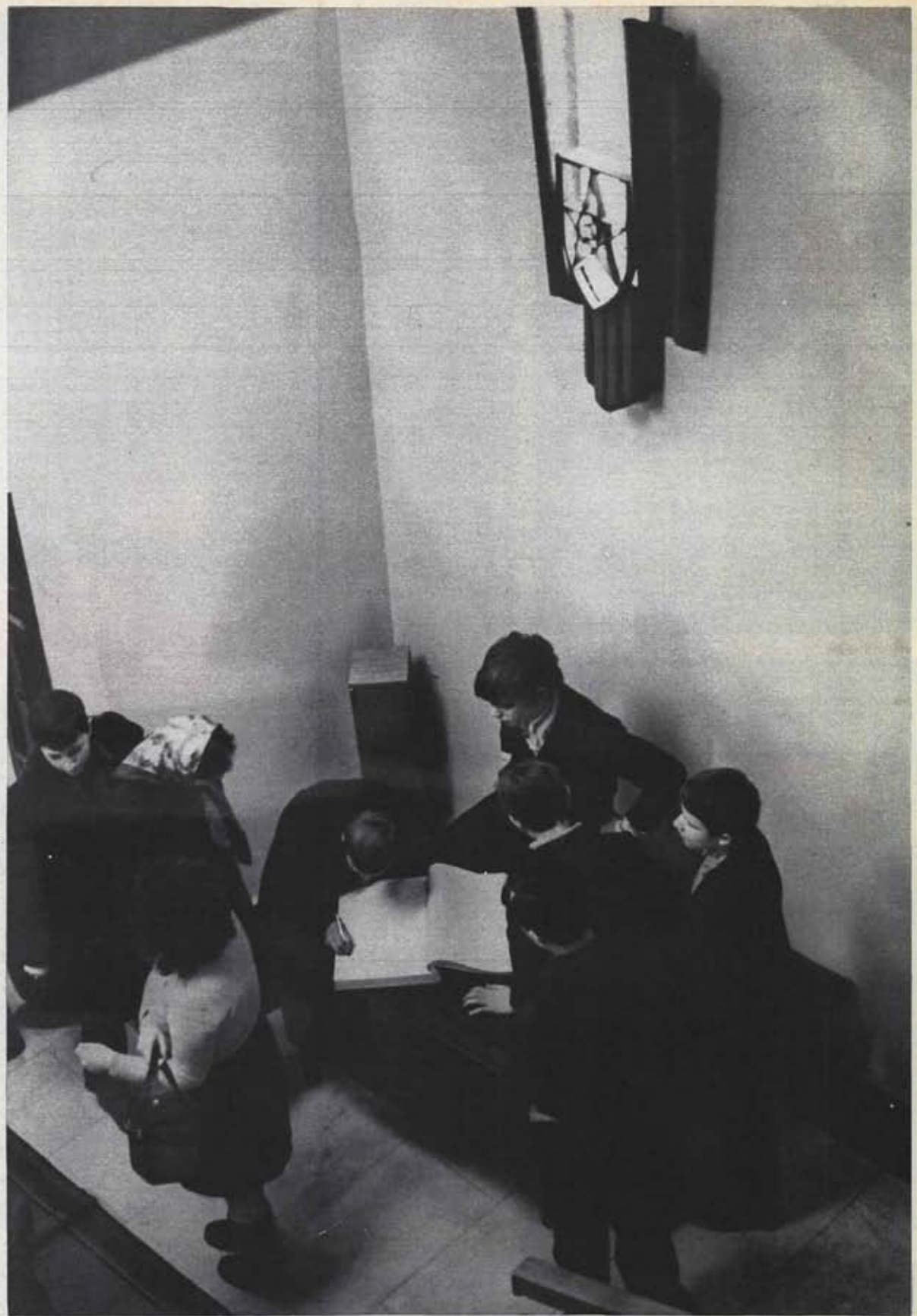
— На Курской. Осколком. Вызвал командир роты, на тебя, говорит, Науменко, вся надежда, одна твоя целая стоит. Надо танкистам запчасти подбросить и механиков. А там бой вовсю. Доехал, выскочил подсобить ребятам в разгрузке, тут снаряд и саданул. Отлежался. И машину свою, как из госпиталя вернулся, отремонтировал. Новую давали, а я нет, говорю, мне эта дорога, одной пушкой стрелянные. После войны какие только не водил, и «ГАЗы» и «МАЗы», а не по какой так душа не болит, как по этой.

Он постоял возле машины еще несколько минут и пошел дальше. Сержант в отставке Андрей Григорьевич Науменко.

Конечно, здесь есть «катюша» и вообще оружие почти всех калибров, но ветераны, знающие что к чему, особенно любят постоять возле сорокапятимиллиметровой пушки — «самого артиллерийского оружия». Она воевала в боевых порядках пехоты, выбивала танки и батареи врага, наступала первая из всех калибров, потому что если не было конной тяги, ее устраивала людская. Ее любили все рода войск.

На площадке, в залах и в самих экспозициях нет ничего лишнего, все точно, сжато. Главный принцип, которым руководствуются работники музея, — документальность, последовательность, лаконизм. «Мы должны не только напоминать и рассказывать, но и убеждать, воспитывать, учить, поэтому мы старались сделать экспозиции предельно выразительными», — сказала как-то директор музея Галина Степановна Кирилюк. Ветеран Великой Отечественной войны, в прошлом комсомольский работник, специалист в музейном деле, она сумела сплотить вокруг себя талантливый, ищущий научный коллектив, в котором органически сочетаются опыт и знания бывших фронтовиков и энтузиазм молодежи.

В одной из экспозиций есть такой фотоснимок — секретарь Центрального Комитета ЛКСМ Украины П. Д. Косыгин вручает знамя ЦК ВЛКСМ комсомольцам одного из партизанских соединений, действовавших в тылу врага. Потомственный шахтер, потом комсомольский работник Петр Косыгин был организатором подполья в Донецкой области, затем готовил группы для заброски в тыл врага, часто сам вылетал к партизанам, был



ранен, после войны долгое время руководил Киевской городской партийной организацией. Сейчас Петр Данилович возглавляет один из отделов музея. Снимок сделан зимой 1943 года у Ковпака. «Это была, наверное, самая длинная моя командировка в тыл, почти полгода. Вручал знамена ЦК ВЛКСМ девяти соединениям, проверял работу подполья, приходилось и просто участвовать в операциях с автоматом в руках. Честно скажу, хотя и понимал, какую нес высокую ответственность за выполнение своей, личной задачи, последнее было больше всего по душе».

В день открытия музея сюда пришла Ольга Михайловна Капустина, пришла как посетительница, в одном из залов увидела снимки и кое-что из военных вещей своего мужа полковника Степана Елисеевича Капустина, командира знаменитого 24-го пограничного полка. Она дождалась директора музея и попросила принять ее на работу кем угодно. Ей предложили идти на должность смотрителя того самого зала, где рассказывается о ее муже.

Галя Соломка начала работать в музее сразу после истфака. Еще в университете увлеклась

темой Великой Отечественной войны. Естественно, когда представилась возможность заниматься интересующим ее делом, она не колебалась. Но тогда музея еще не было, были решения о его открытии, планы, эскизы, огромное желание сделать так, как еще никто не делал. Галя и ее товарищи искали экспонаты, письма, документы, людей. Это был очень трудный период, потому что ветеранам войны, кем бы они ни были, маршалами или сержантами, было нелегко расставаться с реликвиями, дорогими их сердцу и памяти. Тем более неизвестно еще, что из всего этого получится. А когда получилось и музей открыли, люди приходили сами и приносили интересные вещи.

Многие из тех, кто хоть однажды побывал в музее, становятся его друзьями.

Соловьев был в группе Гали Соломки, когда она вела экскурсию. В зале Победы он немного отстал от других и попросил Галю уделить ему несколько минут. Рассказал, что участвовал в штурме рейхстага, был политруком роты. После того как на рейхстаге уже развевалось наше знамя, он и его товарищи вывели на площадь группу



гитлеровцев, обезоружили их и обыскали. В вещмешке одного из врагов Соловьев нашел книгу со штампом Севастопольской библиотеки. Это была «Божественная комедия» Данте Алигьери довоенного издания. Ему разрешили взять эту книгу. Теперь он хочет отдать ее музею. Сейчас она в одном из залов. Подобные визиты не просто обогащают фонды, в них — определенное признание высокого политического, эстетического, пропагандистского уровня музея, его авторитета, историчности.

Как-то та же Галя вела группу, в основном состоящую из ветеранов войны. В тот день было особенно много работы, Галя торопилась и против ее правил не расспросила людей, кто они и откуда. О каждом экспонате экскурсоводы рассказать просто не в состоянии, обычно они выбирают наиболее характерные, убедительные вещи. Но об «унитарцах» говорят всегда хотя бы несколько слов. Галя начала рассказывать: «Отряд подпольщиков действовал в оккупированном Львове. Когда гитлеровцы, отступая, заминировали город, «унитарцы» спасли Львов от разрушения...» В общем, все как обычно. Вдруг ее кто-

то тронул за рукав. Около Гали стояла невысокая пожилая женщина, ничем не примечательная внешне.

— Простите, вы сказали, что это был отряд?

— Да.

— Вы ошибаетесь, это была группа, всего 4 человека.

— Откуда вы знаете?

— Моя фамилия Ковалевская, я была радисткой этой группы.

Она сказала это тихо, так, чтобы никто не слышал.

В один из дней я подходил к самым разным людям с единственным вопросом: «Что вас привело в музей истории Великой Отечественной войны?»

Александр РОГАЛЬ. 22 года, токарь механического завода:

— Я немало знаю о войне, читал, смотрел фильмы, иногда удавалось расшевелить отца, он был пулеметчиком, в 44-м потерял на фронте руку, правда, не очень любит об этом вспоминать. Но я хочу знать больше о том времени, это просто необходимо — знать больше о том, как нам досталась победа. Ведь если случится что-нибудь подобное тому, что было в 1941 году, то придется

повторить путь своих отцов. Я должен быть готов к этому. Но лучше, если это никогда не случится. Никогда.

Зинаида ИВАЧКИНА, врач, Коми АССР:

— Несколько близких мне людей участвовали в освобождении Киева. Дала им слово, что обязательно приду в музей, все запомню, а когда вернусь, расскажу им подробно о том, что видела. Для них это очень важно. Кроме того, мне самой интересно: еще в детстве, в уличных войнах мне почему-то всегда доставалась роль фронтовой санитарки. Мы были в эвакуации, играли в войну чаще, чем в другие игры. А потом враждующие стороны мирились и сообща шли печь картошку в лес. И, глядя на костер, мы заводили разговор о войне, не о нашей, а о большой, на которую ушли тогда наши отцы. Нам, девочкам, это было тоже интересно. А, знаете, детские привычки неистребимы.

Анатолий Иосифович КАТУШКОВ, декан исторического факультета, майор запаса. 5 ранений, 24 правительственные награды:

— Кончил войну командиром отдельного пулеметного батальона в Праге, начал в Минске. Не испытал разве что собственной смерти, остальное все было. Война не только горе и слезы, война — это товарищество, самое большое, какое может быть. Нашел на фронте и свое счастье (знакомьтесь, моя жена Валентина Николаевна, вместе воевали). Сами понимаете, есть что вспомнить. Вот и пришли. Может, ребят здесь своих разыщем, геройский народ был в нашей части. Не может такого быть, чтобы мы никого из них здесь не нашли. Ведь они для победы жизни не щадили. Ну, и, кроме всего прочего, я историю преподаю.

В этот день в музее были молодые рабочие с «Арсенала», офицеры Дальневосточного пограничного округа, участники областного семинара общества «Знание», молодежная делегация ГДР, строители Губкинского горно-обогатительного комбината, учащиеся киевских школ, рыбаки из Мурманска, хлопководы из Анджидана, ветераны 3-й Гвардейской танковой армии, курсанты общевоинского военного училища, нефтяники из Баку, студенты Московского Высшего технического училища имени Баумана, победители киевского конкурса торговых предприятий — тысячи самых разных людей. Это был обычный день. Даже не выходной.

Как и в каждом музее, здесь есть «Книга отзывов». Уходя, люди как бы оставляют в ней свои чувства. Читаю:

«Мне всего 20 лет. И я, как и мои сверстники, не видела войны. Но сегодня я ощутила весь ужас тех военных лет. Во мне окрепла и выросла ненависть к зверям-фашистам...» Светлана Олефир.

«Я еще раз прошел по дорогам Великой Отечественной войны». Герой Советского Союза гвардии полковник запаса Пупков.

«Молодежь 70-х годов гордится подвигами отцов. Мы всегда и во всем будем следовать их героическому примеру и продолжать их славу в трудовых буднях». Слушатели Республиканской комсомольской школы при ЦК ЛКСМУ.

«Мы, молодые рабочие завода «Красный экскаватор», восхищаемся мужеством нашего народа, отстаившего свою независимость в борьбе с фашизмом. Мы не уроним славу героического старшего поколения и отдадим все силы делу укрепления мощи нашего государства».

Перед отъездом мне захотелось пройти по музею еще раз...

Новый музей оказался одним из самых посещаемых. Тяга к нему велика и стабильна. В чем секрет этой популярности? Думаю, прежде всего в том, что создатели музея понимали: основой всей их организаторской и научной работы должно стать патриотическое воспитание молодежи. Они понимали и то, что молодежь особенно чутка к правде, к эмоциональной выразительности. И ставили своей целью вызвать у пришедших сюда чувство сопереживания.

Как показывает опыт нового музея, правдивое и яркое воплощение героического времени не только наука, но и искусство. При всей насыщенности экспонатами залы не обрушивают на вас поток информации, они с постепенностью воссоздают саму атмосферу военных лет, подвига народа, и это потрясает сердца. Не просто реликвии, диаграммы, документы, каждый предмет здесь — та деталь, которая в совокупности лепит образ великого времени и вызывает у молодежи стремление постигнуть подвиг старшего поколения, тот подвиг, который вошел главным богатством в жизненные биографии отцов и дедов. Комсомольские организации столицы Украины, как, впрочем, и многие другие, развернули в музее широкую пропагандистскую работу. Там я встречался с молодыми рабочими, которым час назад вручили новые комсомольские билеты ветераны Великой Отечественной. Они приходили в музей вместе — седые солдаты сороковых и наследники их славы, продолжатели их дела — комсомольцы семидесятых. Это единство незыблемо. В нем символ нашей непобедимости. Музей не просто питает память, но и растит душевный опыт молодежи.



Рисунок Марины ПИНКШЕВИЧ

Гарий НЕМЧЕНКО

РАССКАЗ

Цыганский отпуск

ВЯСНЫЙ полдень, над осенней станицей чутко замерла тишина, и временами казалось, будто оттого и срываются, оттого и падают листья, что поодаль коротко и чисто бьет по наковальне негромкий молот: «Д-динь!.. Дли-н-нь!»

Голосистый звон упруго отскакивал от пригретой неслышным солнцем земли, легко взлетал над садами, стремительно уносился выше обступивших неширокую долину крутых гор и там истончался и пропадал совсем где-то в сверкающем тихой голубиной высокоом небе...

А желтые да багряные листья, постукивая краями по пустеющим веткам, косо скользили вниз — одни помедленней, другие быстрей.

«Д-динь!.. — снова с отскоком бил молот. — Дли-н-нь!»

И опять подрагивали те, что угадали свой срок, и обламывались под ними ставшие хрупкими черешки...

«Д-динь!.. Дли-н-нь!»

Ставив кепку, я стоял у крыльца конторы, то поглядывал на белую кромку

снежников, которые четко вставали далеко за станицей, то на просторный дом в глубине сада — это из-за него доносился звон.

Странная судьба была у этого дома!

Не знаю, почему он остался без хозяина и запустовал, но теперь в нем жили то какие-нибудь шедшие к перевалу «дикари», которых управляющий совхозным отделением Иван Яковлевич уговорил недельку-другую полопать на совхозном току зерно, то излишне бойкие девчата, которых он, когда бывал в городе, подбирали где-нибудь на вокзале да привозил сюда по-работать на ферме...

И не гостиница и не общежитие — так...

Теперь окна на задней стене дома были наглухо закрыты ставнями, вокруг не виднелось никаких признаков жизни.

— Кто там у тебя сейчас? — спросил я у Ивана Яковлевича, когда он вышел наконец на крыльцо. — Никого?

Он слегка наклонил голову к плечу.

— А вон... слышишь? — И значительно приподнял палец. — Коваль!..

— А я гляжу, ставни прикрыты...
— Так это наши женщины проводины опять устроили, — улыбнулся, прикуривая, Иван Яковлевич. — Все до единой шибки перебили, а застеклить не успели — одних гостей проводил, а других тут же встретил. Гляжу, за станицей в балочке шатер ладит... Я туда. Ковать умеешь? А он: не видишь, что цыган? Так тут и поселился.

— А при нем, значит, нет — вставить?
Друг мой досадливо крикнул: хорошо, мол, тебе, вольной пташке, критику наводить, а ты попробовал бы тут повертелся!

— И хороший кузнец?
А Иван Яковлевич, как будто что вспомнив, опять уже радостно улыбался:
— О! Как раз ты мне и нужен... Пойдем-ка!

Подтолкнул меня, и оба мы пошли по рыжей траве — Иван Яковлевич по одной стороне узкой тропки, а я — по другой.

— У тебя ж язык без костей должен быть, — посмеиваясь, говорил Иван Яковлевич.

— Ну, спасибо тебе...
— Нет, правда. Ты мне должен помочь. Как хочешь. Такой коваль, что сто сот стоит. И человек хороший... Да ты сейчас сам! А вот втемяшилось ему...

Из-за угла дома вынеслась ватага цыганчат. Все были грязные и оборванные, все босиком, с черными, в цыпках ногами. Окружили нас, заставили остановиться и не только бесцеремонно рассматривали, но и зачем-то трогали, будто ощупывали. Один, привставая на пальцах, заглядывал мне в глаза:

— Скажи, сколько время?
— Хэх, оно тебе надо! — ответил за меня Иван Яковлевич. — Ты б вон лучше нос, чтоб козюли не торчали...

Цыганчонок все таянулся и перебирал руками у меня на животе, словно хотел каким-то образом по мне взобраться.

— Скажи, сколько?
Я сказал и не успел еще опустить руку, как он вцепился в запястье:

— А подари часы!
— Часы ему! — все как будто удивлялся Иван Яковлевич.

— А что у тебя в этом кармане, покажи, — не отставал цыганчонок. — А что вот в этом?

Все они были черные, как галчата, только один светлоголовый и сероглазый. И такой он был тихий и вроде задумчивый, такой на остальных непохожий, что мне отчего-то сделалось жаль его и невольно припомнились слышанные в детстве рассказы об украденных цыганами детях...

Иван Яковлевич в это время одного за другим брал за плечо, поворачивал к себе, озабоченно разглядывал:

— Ты Колька? Или Петька? А где Васька? Вот он вроде, Васька! — И обернулся, подмигнув мне. — Самый серьезный, слышь, Васька? Тут вам ничего не обломится, ты лучше дуй в контору, найди там тетю Феню, скажи: тетя Феня, покажи, где стол у дядьки Ваньки? Она покажет, ты возьми там кулек, от тут, в правом ящике. И мне принесешь, ты понял?

Цыганчат сдуло ветром, побежали наперегонки.
— Он оно как! — сказал Иван Яковлевич, когда мы вышли из-за угла. — Уже и бричку подкатил к сходящим...

Приткнувшись задком к крыльцу, около дома стояла пустая однокопная телега, а подальше, в глубине сада, виднелся почти добела выцветший шатер, и над ним еле заметно покачивался светлый дымок. Это Иван Яковлевич одобрил:

— Кочегарит! — И уже особенным голосом, каким, считается, подобает разговаривать с цыганами, еще издали крикнул: — Можно к этой хате?.. Хозяин дома? Здоров, Мишка!

Плотный, лобастый цыган с толстыми, хорошо ухоженными усами на чисто бритом лице ответил, старательно выговаривая каждый слог:

— Здравстуй, Яковлевич! Заходи, гостем будешь. — Потом неторопливо и с достоинством кивнул мне: — День добрый, присаживайтесь.

Мы устроились на низеньких чурбачках, стали смотреть в горы, где поверх скальных углей лежали синеватые, начинающие краснеть мелкие поковки.

Цыган сидел, скрестив ноги, левой рукой продолжал покачивать мехи, и они негромко похрипывали, захлебывались в конце, фукали, и всякий раз угли вспыхивали и отвечали им легким гудом. Предплечье правой лежало у кузнеца на колене, крупная, со вздутыми жилами кисть висела свободно, и смуглые пальцы были подогнуты, словно не отошли еще от долгой работы.

Рядом с наковальней на выбитой, с остатками пожухлой травы земле высились горка ухналей, а за спиной у коваля одно на одном лежали три или четыре колеса, висели на деревянной стойке хомут да уздечки, валялась под ними какая-то пестрая рухлядь, и, кроме кислотовато-горького духа кузницы, под шатром слышны были разогретые костерком да осенней теплынью запахи сухого дерева, дегтя, старой кожи и еще чего-то, связанного с потными лошадьми да с пыльной дорогой...

Иван Яковлевич прокуренным пальцем шевельнул ухнали, спросил громко, как у глухого:

— Ты, я вижу, заканчиваешь?
— Все, Яковлевич, все! — заговорил кузнец слегка нараспев. — К вечеру с тобой, Яковлевич, рассчитаюсь... Старуха моя уже узлы связывает.

— Хэх ты, ей-богу! — как будто обиделся управляющий. — Вот заладил! А о другом ты подумал: одним побродягой на дороге больше, одним меньше — какая разница? А тут ты работник! Понимаешь? Ты мне только скажи... Останешься — я сейчас за фотографом пошлю, и завтра на почетной доске будешь висеть, руки-то у тебя золотые... Забирай себе этот дом, живи с богом, ребятешек твоих в школу определим...

Толстые усы у цыгана шевельнулись, сверкнули сахарно зубы:

— Этим рано!
— Ну, не на этот год, так на тот...

Около шатра послышался топот, цыганчата разом появились в косом проеме, сгрудились вокруг Васьки, стояли с набитыми ртами, жевали и судорожно слгатывали.

— Были бы коваль да у коваля ковалиха — будет и этого лиха! — кивнул на ребятешек Иван Яковлевич. — Вот они — не заплылись!

Васька, преданно глядя на управляющего, протягивал ему широко раскрытый пустой кулек из серой бумаги.

— Давай-ка! — Иван Яковлевич только заглянул в кулек и бросил его поверх пынувших углей. — Ну, правильно... никого не обделили!

— Мне не дали! — тоненько выкрикнула девчонка в длинной, до пят, цветастой юбке.

— Брешет! — уверенно отбрил Ваську. — Она просто быстрее жрет...

— А вы хоть заработали? — строго спросил цыган. — Конфеты?... Или на шарамыжку? Надо спасибо сказать. А ну, Колька!

Все разом расступились, а один, большеротый и большеглазый, вровень с кудлатой головой приподнял над плечами ладони с растопыренными пальцами и, покачиваясь то в одну, то в другую сторону, стал прыгать с ноги на ногу:

Фул.. Фул.. Не могу!
Я поеду у Москву!

Цыган перестал качать мехи.
— Стой, Колька! Зачем хлеб ешь — ты как неживой!

— Ты, Мишка, как тот уркаган, — подлаживаясь, рассмеялся Иван Яковлевич. — Тот кормит своего пацаненка, а пацаненок говорит: «Пап, мало!» «Мало? Прокурор добавит!»

— А ну, ты, Васька! — негромко приказал цыган. — Давай на пузе.

Все еще продолжая жевать, Васька ничком бросился на землю, запрыгал на животе, задрыгал ногами, завертелся, и цыганчата, уступая круг, попятись в шатер.

— Ходи давай!
Иван Яковлевич незаметно подмигнул мне:

— Ну, хватит, хватит! — И, приподнявшись с чурбачка, стал подталкивать ребятешек на улицу. — Ступайте, пусть тут взрослые поговорят!

Цыган сидел теперь, обе ладони положив на колени и слегка приподняв разведенные в стороны локти.

— Петька! А ты на пузе?
— Ты нам зубы не заговаривай! — снова громко заговорил Иван Яковлевич. — Ты давай, Михаил, лучше еще раз подумай... Умный мужик, а тут, я гляжу, прохлопаешь... Ты скажи: обидел я тебя? Разве не по совести заплатил?

— Нет, Яковлевич! — построжел цыган. — Ты мне хорошо дал. Спасибо тебе. По совести.

— А так и всегда будет! Или к тебе наши мужики на огонек не подходили? Или ты с ними махорку не курил да разговоры не плел? У нас кто работает, тот не жалуется, да только в том и беда — работать некому... Ну!

Глядя на меня, цыган отнял руки от колен, приподнял вверх ладонями и нарочно тяжело вздохнул: мол, хотел бы, да не могу.

Все это время я только с интересом прислушивался к разговору, красноречия Ивану Яковлевичу было и самому не занимать.

— Ты мужик башковитый! — с жаром продолжал убеждать он. — А тут прошибешь, если доброго совета не послушаешь... Что, плохой дом? А я тебе говорю: бери, твой! Да из этого дома, знаешь, что можно сделать! Картинку!

— Я бы флюгарок наковал! — неожиданно загорелся цыган, и морщины на смуглом лице у него разгладились, виднее стал небольшой, с синими крапинками шрам под глазом. — Подул ветер, а они бы: скри-ип... скрип!

— О! — горячо обрадовался Иван Яковлевич. — А ветра у нас только ныне и нету — и я тебе о том же! Да ты только скажи, что останешься! Знаешь, мы тебе такую помощь устроим! На всю станицу. Весь мир придет. Думаешь, не обрадуются люди, что у дома хозяин? За один выходной все сделаем.

— Яковлевич! — нараспев сказал цыган. — А ты!

— Что я?

— Тоже зубы, Яковлевич, заговариваешь...

— Значит, нет?

Цыган опять приподнял руки, с сожалением покачал головой и прицокнул:

— Батюшкина коня, Яковлевич, не удержишь! Матушкину покровку не скатаешь...

Управляющий прищурился:

— Это что же?

— А ваша поговорка, меня один человек научил. Это ветер, Яковлевич. И дальняя дорога...

Друг мой ударил себя по колену.

— Хэх ты! Ну, хоть на недельку еще?

— Я к тебе, Яковлевич, лучше на то лето приеду...

Опять мы с управляющим шли по бокам узкой тропинки, на которой там и тут валялись теперь разноцветные обертки.

— Мы тут что? — как будто сам с собой рассуждал Иван Яковлевич. — Одно время совсем дожились. Казаки... А порядочного коня днем с огнем... Все техника да техника, а лошадей извели. А попробуй без них в наших-то горах! Когда непогода да грязь такая начнется, что танки не пройдут. А коняшка, он всегда выручит, ты ему только руку на холку положи. Когда меня назначили, я первым делом: заведу опять лошадей! И там и тут искал и менялся, ты веришь, только и того, что не воровал. А sprawy никакой, все поразбазарили, от бричек одни короба пооставались. Ни седельца, одним словом, ни уздицы, ни той вещицы, на что надеть уздицу... Вот как. И спецов — ты веришь? Механизатор — пожалуйста, а этих нет. Хоть Михаил, спасибо, выручил. Другой раз подумаешь: как подарок! Все поперечинил, всех лошадей перековал, а кует как? Она сама ему копыто подает, какой там тебе станок — все на руках! И как человек... Эх, Мишка-Мишка! Про них же что? Затем цыган мать бьет, чтобы жинка болялась. А этот как тихое лето. Вежливый, хоть за пазуху сажай... И знаешь, что?

Иван Яковлевич остановился и меня за локоть попридержал.

— Временами подумаю, какой-то он... как бы сказать?... Тайный. И покрывает по-ихнему и шутки шутит, цыган как цыган, а что-то такое есть. Сперва их с ним много сюда приехало. Полный дом! Тут столько никогда еще не жили. А недели две назад — раз, нету молодых. Все уехали. Детишек им с женой пооставляли... Думаешь, это его? То внуки... — Иван Яковлевич оглянулся и заговорил совсем тихо: — Я так подумаю иногда: а среди них, среди цыганей, баптистов нету?

Мне осталось только пожать плечами.

После обеда мы поехали на ближнюю ферму, а когда к вечеру вернулись в контору, счетовод Аграфена Семеновна — та самая тетя Феня — сказала, что из района звонил мой товарищ, просил предупредить: машина придет туда за нами завтра рано утром. Выходило, сегодня мне надо уезжать, и друг мой огорчился:

— Ты что, не мог рассчитать, чтобы побыть хоть денька два-три? Ни на батарею с тобой не съездили... помнишь, это где мы с тобой видели журавлей, что слабово лететь помогали? Ни к старикам моим не сходили. Я к ним ездового посылал, заказал на вечер блины с калиновым вареньем да чай на травках... Ты чем, интересно, думал, когда сюда собирался?

Я оправдывался, говорил, что ничего не поделаешь, такая у меня на этот раз вышла поездка, но друг мой только махнул рукой и договариваться насчет машины ушел, явно расстроенный.

Я сел около конторы на скамейке и не успел оглядеться, как подбежал ко мне цыганчонок, сказал, запыхавшись:

— Иди, тебя деда зовет!

Я сперва не понял:

— Какой деда?

— Какой-какой! Мишка. Цыган.

Старый яблоневый сад, где стоял шатер кузнеца, почти вплотную подходил к высокому обрыву, под которым среди меловых бережков неслышно неслась маленькая, но быстрая речонка. Здесь, на краю сада, горел теперь небольшой костер, около него сидела старая цыганка, а рядом с нею, кто на подстилке, а кто просто на земле, лежали ребяташки.

Михаил устроился чуть поодаль от них на одном из тех чурбачков, что днем были у него под шатром. Другой стоял рядом свободный, и он дружелюбно кивнул:

— Посидите за компанию.

Я тоже стал глядеть на рябившую поверхность реки, которая в сумерках казалась зеленоватой. Над нею уже зыбился почти незримый вблизи туманец, дальше собирался, плотнел, и серые косые его пряди наплзали на низкий противоположный берег, висели над потемневшими садами. На той и на другой стороне кое-где в домах уже красновато тептели редкие пока окна, горы над станцией сделались черными и притихли, снежинки за ними синели далеким холодом, и только одна, самая высокая вершина тонко пламенила в густеющем небе.

— Ха-рошее место! — сказал цыган таким тоном, словно поделился со мной какую радостью.

А мне хотелось хоть как-то заглядеть невольную свою вину перед Иваном Яковлевичем, хотелось ему удружить, и я поспешил откликнуться:

— Очень хорошее!

— Вы когда в город?

— Да вот придется сегодня выезжать, а буду завтра.

Цыган мягко положил руку мне на колено.

— Можете вас попросить? Только чтобы Яковлевич не знал. Мне надо такую телеграмму. — Порылся во внутреннем кармане хлопчатобумажного своего, в полоску пиджака, достал аккуратно сложенный тетрадный листок. — Прочитайте, чтобы на почте все ясно...

Я развернул бумажку, поднес ее поближе к глазам.

— Посветить, может? — Цыган достал из бокового кармана плоский фонарик.

Телеграмма была в Донецк, указывались в ней и улица, и дом, и квартира. Потом шел крупным почерком, размашисто написанный текст: «Егорович хлопчочки пожалуйста еще недельку выбором буду обязательно Андриушка моллодец кланяется Валентиновне я тоже Михаил».

«Вон-он оно! — пронеслось у меня. — Наверное, он у них шишка какой-нибудь, может, цыганский барон... выборы, ишь ты!.. А Иван Яковлевич хочет, чтобы он ему заявление в совхоз...»

— На шахте работаю, — сказал цыган так мягко, словно была в этом какая вина. — Механиком. А это один раз в партком выбрали, потом еще... Секретарь предупредил, чтобы я к двадцатому, как штык, а я тут у Яковлевича подзадержался. А мне еще добираться недели две, и то если лошадка так быстро согласится...

Я сам чувствовал, какая, должно быть, глупая расплылась у меня на лице улыбка:

— Так это у вас...

— Отпуск, — сказал он почему-то чуть грустно. — Я всегда так. Лошадку запрягу, жену посажу, детишек и все заботы — долой... Ты в большом городе? Хорошо, а все равно... Человеку воля нужна! Простор нужен. Чтобы дымом пахло. И звезды видать. На звезды надо часто смотреть, тогда душа будет на месте...

Он затыл как-то на полуслове, как будто не договорив чего-то, может быть, самого главного... Сидел, зажав в кулаке коротенькую трубку, от которой крепко пахло остывшей махоркой, и все смотрел выше гор, туда, где только что догорела и скрылась в ночи последняя, укрытая вечным снегом вершина.

Костер почти не освещал смуглого его лица, оно было в тени, только толсто топорщились усы да загадочно поблескивали темные глаза, и оттого казалось, что на лице у кузнеца и в самом деле словно бы лежит печать тайны, и тайна эта не его лично, не цыгана Михаила, а будто общая какая человеческая тайна, только он, знавший жизнь и по ту сторону всеми принятого и по эту, ближе многих других находился к ее разгадке...

Может, это вечер был такой задумчивый, — поговорить с ним хотелось о чем-то сокровенном, однако нужные слова не шли, только мучили сладким предчувствием своего рождения.

Позади нас послышалось тугое пофыркивание, и я глянул вбок. К костру подошла серая, в яблоках, лошадь, слегка вытянула шею, меланхолично смотрела из темноты.

— Скучает, — сказал кузнец, — чувствует, что уже скоро...

— Ваша? А где вы ее...

— Друг у меня около Донецка, председатель колхоза...

Ощупывая карманы, он помолчал, потом голосом погромче окликнул:

— Голубушка!

Лошадь насторожила уши и сперва только посмотрела, медленно попятилась от костра и будто растворилась в темноте, а потом фыркнула уже рядом, остановилась позади кузнеца, положила морду ему на плечо. Он приподнял горсть, и она ткнулась ему в ладонь, пошевелила губами, захрумкала.

— Ну, гуляй пока! — Он похлопал ее около уха. — Иди гуляй... Вот. Всю амуницию да инструмент в гараж, а Голубушку ему отдадем. Зиму работать будет...

— У вас машина?

— Шахтер все-таки! — начал он нарочно лихо, но тут же опять притих. — Правда, я на ней редко... И вообще была бы моя воля, как говорится... Пусть бы люди лучше коней... Я и с Яковлевичем почему задружил? Гляжу, в лошадях понимает. И хозяин. А дела пока не совсем хороши, помогать надо, дай, думаю, на самом деле пособию... Не знал я, что на этот раз за отпуск еще и работаю!

— Колхоз-то у вас вон какой...

— Васька мой. Меньший сын. Остальные внуки. Сперва и дети с нами бы-

ли, а потом у одной отпуск закончился, другому, видишь, на море приспичило...

— Также неплохо.

Лицо у него впервые стало сердитое.

— Не знаю, в кого пошел... Только потому простил — летчик!

— А тоже, бывает, с вами ездит?

— Да разве плохо, посуди? За месяц и сам обо всем на свете забудешь и детишки хоть отдохнут. Ты не смотри на меня, я строгий! А тут им вольгота. Хоть на голове ходи — на то и цыган.

— И не болеют?

Слышно было, что он улыбается.

— У нашего секретаря, это мы ему телеграмму, сынишка... Из больницы не вылезал, где только с матерью не лежали — такой на простуду хваткий. А я и говорю: Егорович! А ты отдай его нам со старухой. Вот посмотришь. Жена у него как раз на курсах, он рискнул. Мы уехали, а у них скандал... А на этот раз говорит: что, Михаил? Опять ты в свой цыганский отпуск? Опять! А нашего Андриушку прихватишь? Смотри, говорю, как твоя Валентиновна. А вечером приходит она сама: «Дядя Михаил! Возьми сына, пусть перед школой окрепнет да хоть набегается».

— Это белевский?

— Андриушка, — позвал кузнец. И, когда тот подскочил тут же, не то приказал ему, не то попросил: — А ну, принеси-ка нам с дядей по картошке!

Через минуту тот снова появился перед нами, каждому подавая на ладошке большую печеную картофелину. Стоял, босыми пальцами почесывая под коленом другой ноги, из куцега осеннего пальтеца тянул руки, и лицо у него было деловитое. Костер горел напротив, и хорошо было видно, как изпод курносого носа у мальчишки медленно, но упорно поползла прозрачная соплюшка, докатилась почти до нижней губы, но он, только чуть покривив лицо, длинно шмыгнув носом, и все стало на свои места.

— Уже не пропадет мужик! — одобрил кузнец, когда Андриушка отошел от нас и опять повалился около костра.

И я подтвердил сквозь смех:

— Все, этот не пропадет!

Картошка была горячая, пекла во рту, и я задышался от парного ее запаха, который с давних пор был для меня как бы особым знаком простого и счастливого бытия — то в детстве пастушонком единственного теленка, то в студенческие времена грузчиком на каком-нибудь столичном вокзале, рабочим в дальней экспедиции, охотником.

И Михаил, видно, тоже припомнил что-то свое, потому что голос его стал глуше и как будто задумчивей:

— На недельку останусь, кой-что еще почию. А потом целый день буду флюгарки мастерить. Всяких понаделаю! И больших накую, тяжелых, и легких, как пушинка, — колдунчиков... Вроде нет ветра, ни глазом его, ни ухом, а он все равно тихонечко — раз! — и повернулся. Накую, понавешаю на крыше — пусть Яковлевич кузнеца Мишку вспоминает. Пусть люди соображают: а почему это такой большой дом без хозяина?.. И почему один всю жизнь на месте, как дерево, а другой — как перекасти-поле? А я буду флюгарки зимой, когда метель, вспоминать, и тоже... о всяком...

Из темноты появился управляющий.

— Вон ты где. А я гляжу, может, уже пешком?

— Беседуем, — сказал Михаил.

Иван Яковлевич присел рядом на корточки, миролюбиво оперся о мое колено.

— Все легковые, как нарочно, в разгоне, а вот грузовая скоро будет, бураки повезет — как ты!.. Только в кабинке у него женщина, уже успел посадить.

Я сказал, что сегодня будет тепло и наверху, и Михаил поддержал:

— Сенца у меня возьмешь подстелить.

— Хэх, а то в совхозе своего нету — у цыгана будет брать!

— Останусь я еще на недельку, Яковлевич.

Управляющий тут же ухватился.

— Маловато. Ты еще подумай, Мишка...

— А я вечера прихватывать буду, — сказал цыган. — Нет-нет да и постучу.

— Машина через два часа. — Иван Яковлевич, поднимаясь, надавил на колено. — К матери подойдет... Пошли и ты, Мишка. Так уж и быть, покормлю тебя блинами, ты еще в жизни таких не пробовал!

Машина медленно шла по ночной дороге, притормаживала и плавно покачивалась...

Я выбрал бураки в середине кузова, в ямку, словно в гнездо, постелил свежего сена, и теперь мне удобно было лежать, раскинув руки, и смотреть вверх.

Бураки были сегодняшние, еще не успели настать, от них пахло теплым нутром земли, и через висевший над пыльной дорожкой бензиновый дух тоже, показалось, пробивались знакомые запахи осенних полей.

Когда машина натужно ползла в темноте на взгорки, над бортами виднелись черные края гор, но она выравнивалась, и тогда у меня в глазах опять были только бескрайнее небо да высокие звезды.

Отчего это, в самом деле, надо человеку на них смотреть?

И я думал о цыгане, который не хотел давать свою телеграмму из станицы, чтобы еще хоть немного не то чтобы побыть, а хотя бы казаться вольным, как и его предки, бродягой, и думал о моем хлопотливом и доверчивом друге и обо всем том, что было теперь позади, но вместе с тем как бы навсегда осталось куском и моей и их жизни.

Краем тронули душу завтрашние заботы, припомнилось отчего-то, как в ответ на мою подковырку Иван Яковлевич досадливо кракнул: хорошо, мол, тебе, вольной пташке... И я пожалел, что мы с ним на этот раз так и не посидели хорошенько и не поговорили, задним числом захотелось вдруг ему рассказать, что не такая уж она у меня и вольная, моя жизнь, и для того, чтобы посеять свою строку, которая неизвестно когда взойдет, тоже поднимаясь я по-крестьянски рано, что случаются и в моем деле недороды, и тоже бывают ранние заморозки, что порою устаешь чертовски, и хочется тоже другой раз на все плюнуть да и уйти в такой вот цыганский отпуск... Только где я возьму коня?

А над головою медленно поворачивался светлый обод Млечного Пути, покачивалось синее мироздание.

Показалось, что сквозь тяжелый вой двигателя откуда-то издалека донесся тонкий упругий звон: «Д-дин! Длин-н-нь!»

Одинокий звон, от которого в пустынях садах неслышно срываются осенние листья...

Меня всегда радует, когда молодой поэт черпает свое вдохновение из жизни, из своего духовного опыта — тогда-то он и пишет в стихах биографию своего сердца. И здесь важно, что любит, чем болеет и чему радуется это сердце.

Молодой поэт Олег Беликов любит жизнь, любит людей труда. Он не мыслит себя без этого. Работу он измеряет самой высшей мерой — творчеством, вот почему у него: «Шахтеры так же, как актеры, смывали в бане черный грим».

Итак, жизнь — работа — творчество — вот основные тематические координаты его лирики, что и определяет и его мироощущение и состав его стиха. Стих его всегда конкретен, достоверен, не отлекается на образные излишества. Это стихи очевидца, стихи — свидетельства об увиденном и пережитом. Они молоды по своему настроению, по какой-то особой категоричности, пронизаны запальчивым волнением. В них угадан опыт сердца с опытом жизни. Поэтическая деталь, как таковая, присутствует в веществе стиха как выразительница примет жизни:

Все начиналось тут с палатки —
Поставить памятник бы ей! —
Четыре стенки,

три заплатки,
Двенадцать метров,

шесть парней.

Все это говорит о том, что в молодую поэзию приходит человек с крепкой, здоровой жизненной основой, со своим трезвым рабочим отношением к миру, к людям. Правда, порой поэту не хватает мастерства, чтобы избавиться от излишних подробностей, чтобы не сбиваться на пересказ там, где нужно преобразовывать словом материал. Это требует и упорства, и вкуса, и культуры. Я думаю, что Олегу Беликову по силам это.

Владимир ЦЫБИН

НОВОЕ ИМЯ

Олег БЕЛИКОВ



Первому строителю Мирного

Все начиналось тут с палатки —
Поставить памятник бы ей! —
Четыре стенки,
три заплатки,
Двенадцать метров,
шесть парней.
Зимой в палатке
печь топили
Посменно —
ночи напролет —
И, как военный хлеб,
делили
Тепло,
невзгоды
и почет.
Вы грелись спиртом,
грелись потом
В якутский
проклятый мороз,
От вашей яростной работы
Из тех палаток
город рос.
И встал он,
всем на удивленье,
Ногами свай
на мерзлоте.
Мечтал
Фантастика!
Виденье!
Точнее —
памятник мечте.
Идешь ты новеньким проспектом,
Как на параде
мимо войск,
Ты принимаешь город этот,
Как свой
якутский Комсомольск.
...Торжественно проходят «МАЗы»,
С алмазной
шестьуют рудой,
Но мне дороже
всех алмазов
Твоя работа —
город твой.



Искусство

Спускаюсь в шахту
в прочной клетке,
Как Жак Пикар
на глубину;
В ушах звенит,
как в стеклах — ветер,
И кажется:
идем ко дну.
Народ вокруг меня
спокоен —
Одна из комплексных бригад.
Стою,
как новобранец-воин
Среди обстрелянных солдат.
Спустившись, в лаве,
словно в зале,
Под механизмов лязг и свист
Они бригадой выступали
И шесть часов
спектакль давали —
Все вместе,
как один солист.
Искрилась кожа
и блестела,
От угля черная,
как смоля;

Русская музыка

Весь месяц
днем
играло море,
И я участвовал в игре,
А вечерами,
с морем споря,
Гармонь
играла во дворе.
И все другое меркло сразу —
Луна
и волны в серебре.
Когда
прабабка
русских джазов —
Гармонь
играла во дворе.
Как на завалинках,
на сходах,
На сельских свадьбах
в сентябре,
Как на привалах
и в походах,
Гармонь
играла во дворе.
Я с нею
словно возвращался
Опять к далекой той поре,
Когда и в радость
и в несчастье
Гармонь
играла во дворе.
Протяжные летели песни
Вслед догорающей заре...
Не торопите время,
если
Гармонь
играет
во дворе.

Бригада —
двадцать пять Отелло —
Блестяще исполняла роль.
Лопаты были,
как рапиры,
А парни —
с видом королей...
В бессмертном творчестве
Шекспира
Не отыскать таких ролей.
Их роль —
рубить хрустящий уголь
Их речь —
обрывки кратких фраз
В их действиях
сквозила удаль
И артистизма
высший класс.
Сработав свой спектакль,
который
Обычен был
и повторим,
Шахтеры так же,
как актеры,
Смывали в бане
черный грим.

Кремлевские башни

Мы как-то привыкаем к
повседневности
Великое
в сравнении видней.
В Кремле
среди творений русской
древности
Нагляднее
величье наших дней.
Я прохожу,
как будто замороженный
Истории реальной ворожкой,
Вдоль башен,
что связали,
как положено
Свою судьбу
с Отчества судьбой,
Как полководцы,
мудрые и brave,
Во все — без исключения —
века
Они на битвы праведные,
правые
Благословляли
русские войска.
По снимкам
и по кадрам кинохроники
Я представляю сорок первый год:
Как шли потомки ратников
и конников
От стен Кремля
за Родину в поход.
Надеюсь,
больше беды не коснутся их.
Почетным караулом Ильичу
Все башни —
ветераны Революции —
Застыли у Кремля
плечом к плечу.

Уроки мужества

Звенят напряженные строки
Со сталью клинков наравне,—
Читают стихи на уроке,
Читают стихи о войне.
На нотах пронзительно тонких,
На чистой,
высокой струне,
Волнуюсь,
мальчишки,
девчонки
Читают стихи о войне.
О горе,
о горьких потерях,
О клятвах на верность стране,
О мужестве,
стойкости,
вере,
О жизни —
стихи о войне.
В них дней беспримерных приметы,
Дороги и судьбы в огне...
Сердцами
и кровью поэтов
Писались стихи о войне.
Стихи сорок первого года,
Стихи о победной весне...
Как память,
как подвиг народа,
Бессмертны
стихи о войне.
Нет лучшего им примененья,
Чем это:
сейчас в тишине
Их
дети
читают с волнением.
Читайте стихи о войне!

Рисунки Вениамина КОСТИЦЫНА



ЗАВОДСКОИ РАДИОН

-Ты почему пропустил пять дней, Дурнев?
— Готовился к свадьбе.
— А ты, Иванова?
— А я квартиру ищу...

Вот по каким причинам пропускают занятия ученики этой школы. Они вообще нетипичные — не носят формы, ходят на уроки без портфелей, не получают заданий на дом. На переменах здесь стоит тишина, а стены в классах такие удивительно чистые, каких в школах и не бывает. Вместо парт — столы с нетронутой зеркальной поверхностью. Только на одном, стоящем в глубине класса, на самой «Камчатке», чья-то сильная и отчаянная рука вырезала большое сердце, пронзенное стрелой, и написала «Люда».

В этой школе учатся взрослые. Они приходят сюда после рабочей смены, в первые полчаса в их головах стоит шум станков, они еще мысленно доругиваются с мастерами, докручивают последнюю гайку, а учительница уже просит рассказать об образе Евгения Онегина.

Из многочисленных фильмов, опозитизировавших школу рабочей молодежи, мы знаем ее наиболее характерные приметы: ученики засыпают от усталости на уроках и влюбляются в молоденьких учительниц. Приметы эти в фильмах разных лет остаются неизменными, а между тем с того дня в 1943 году, когда в осажденном Ленинграде открылась первая ШРМ, школа рабочей молодежи менялась, менялась постоянно, и сейчас она далеко не та, какой, например, мы ее знали по «Весне на Заречной улице». Ученики ШРМ помодели, тридцатилетние школьники сейчас редкость. Например, в школе № 4 города Владимира, о которой пойдет речь и дальше, возраст большинства учащихся — 18—20 лет. А учительницы... учительницы постарели. Потому что, как выяснилось, текучесть кадров в вечерних школах по сравнению с дневными ничтожна. Опять-таки в четвертой ШРМ основная часть учителей работает по 15—20 лет и уходит оттуда не собирается. Последний школьно-производственный роман отмечен здесь семнадцать лет назад. «Тогда сразу две учительницы наши среди учеников свою судьбу», — вспоминают их коллеги сейчас.

Постоянно меняясь, школа рабочей молодежи из барakov и других случайных помещений перешла в специально для нее отстроенные здания, получила специально для нее созданные программы и учебники. Эта школа дала аттестаты зрелости десяткам миллионов выпускников и сейчас вступила в самый, может быть, ответственный период своего существования. Школа уже выучила наиболее любознательных и жадных к знаниям — тех самых «старичков», которые продирались к наукам через невероятные трудности.

А кто же остался, кого ей, рабочей школе, сегодня учить? Остались молодые люди, которые не имеют возможности ходить на занятия по достаточно веским причинам, и те, которые вообще учатся не хотят. «Каждый год мы закидываем сеть — какая-то «рыбка» выловится? Агитируем, убеждаем, всю общественность ставим на ноги. В сентябре к нам приходят сотни учеников, и среди них — люди просто самоотверженные. Есть молодые матери и отцы, которые вынуждены приходить на занятия с детьми. Такие учатся, несмотря ни на какие трудности. Но каждый год сквозь наши сети уходит самая мелкая, понимаете, в человеческом смысле мелкая, рыбка. Чем ближе мы к завершению всеобщего, тем их меньше. Но тем они и безнадежней, что ли. Остался самый трудный контингент». Этот грустный монолог при-

4. ШКОЛЬНИКИ БЕЗ ПОРТФЕЛЕЙ

Лина ТАРХОВА

надлежит одной старой, умудренной опытом десятков лет работы в ШРМ учительнице.

-Назаров, мы с тобой не первый раз беседуем. Почему все-таки не подаешь заявление?

Симпатичный черноусый парень обаятельно улыбается, поигрывает мускулистыми, сильными плечами.

— Тут на отдых времени не хватает. Я смену отработаю, а ночь над уроками сижу?

Голос подает учительница:
— Мы уроки на уроках же и готовим. Дома можешь не заниматься, Назаров.

— Да зачем мне учиться-то?
На это отвечает парторг:

— А ты разве не слыхал, что партия и правительство приняли такое решение, что каждый должен иметь среднее образование? Нам нужны образованные люди.

Назаров подталкивает локтем соседа, краснолицего парня, тоже приглашенного для беседы.

— Слыхал, Першонков? Нужны образованные. А мы, выходит, не нужны?

Он опять обаятельно улыбается и показывает всем свои сильные загорелые руки.

— Да я этими вот руками... Да я... У нас на конвейере и с техникумом работают и без пяти минут инженер есть — вот-вот диплом получит. А работа у всех одинаковая. Я за год стал универсалом, на всех операциях могу работать. И каждый месяц две сотни имею. А тот, который с техникумом, еще и отстанет иной раз. И это я-то не нужен?

Назаров накалялся, накалялся, а потом вдруг стих, для того чтобы закончить спокойно:

— Мне моей работы на всю жизнь хватит... Доверят... Не здесь, так в другом месте. И вообще я пойду. Конвейер, между прочим, стоит. Производство страдает...

Когда за ним захлопнулась дверь, учителя обратились к Першонкову:

— Ну, а ты что надумал? Мы создадим все условия, купим учебники, тетради, только учись! Парень наматал на палец рыжеватую кудря, покраснел еще больше, бормотнул:

— Я молодой еще, погулять надо. — И протиснулся в дверь.

— Возьмите его на заметку, — попросила директор школы Лидия Александровна Симеева учительницу, — с ним еще можно поработать.

В тот день учителя и директор четвертой школы беседовали с восемью рабочими моторосборочного цеха. Итог — два заявления.

Накануне комплектование шло в тракторосборочном. Там ситуация была обострена тем, что агитировать за учебу пришли представители сразу трех школ — четвертой, шестой и одиннадцатой, стоящих практически рядом. Тракторный завод для них — основной поставщик учащихся.

Как водится, «неучей» хотели пригласить в кабинет начальника цеха или парторга, но оказалось невозможным оторвать рабочих от станков, поскольку шел конец месяца и цех «авралил».

Группа учительниц передвигалась по цеху, ведомая представителями администрации. Отыскав среди черных халатов и комбинезонов очередного «неохваченного» (все они занесены в списки, правда, их учительницы могли бы и не брать с собой — за каждой из них закреплен определенный цех, и десятки фамилий неподдающихся они знают едва ли не наизусть), учительницы окружали его кольцом и, стараясь перекричать шум станков, разворачивали агитацию.

Представитель четвертой школы, как водится, «ходил с туза»:

— Иди к нам, мы базовая школа завода.

У учительницы из одиннадцатой — свой козырь:

— Иди лучше к нам, у нас есть классы мастеров. Кончишь — сделают тебя мастером. Прибавка к зарплате — 15 процентов.

И дальше, перекрывая голоса и шум цеха:

— У нас учителя хорошие...

— ...Столы полированные...

Приводили педагогов, конечно, и более веские доводы, говорили о требованиях сегодняшнего дня, о том, что грядет пятилетка качества, а ей нужны люди грамотные...

Один бравый парень, с которым особенно долго беседовали, даже потерял терпение (надо сказать, что учителя проявляют в подобных ситуациях удивительную настойчивость) и решил «убить» всех одним вопросом.

— Вот вы лично сколько получаете? — подступился он к учительнице.

Та растерялась от такой бесцеремонности, покраснела и выдвинула из себя:

— Сто пятьдесят.

— Так вот, — торжествующе сказал он. — А я каждый месяц две с половиной сотни кладу в карман. Имея образование восемь классов. Все ясно? — И снисходительно хохотнул, сверкнув парой золотых зубов.

— Ты же сам не захочешь всю жизнь ломить на коленвале. Да и задумайся, какой сейчас в технике прогресс! — сделал кто-то последнюю попытку поколебать безмятежность парня, основанную на железном математическом расчете: ведь две сотни с лишним — это действительно больше, чем сто пятьдесят.

И тут он повторил жест Назарова — показал свои крепкие, надежные руки:

— Они не подведут. Вы мне указываете на творческую перспективу, а я вам говорю: им на всю жизнь работенки хватит.

Как часто потом я слышала эти слова и видела руки, показываемые с гордостью, даже с чувством превосходства!

...Итог комплектования — четыре заявления на три школы. Но и этим ничтожным успехом не обольщалась Лидия Александровна Симеева:

— В сентябре на занятия придет не больше половины. Сейчас боремся за контингент, тогда — ох! — начнем борьбу за его сохранение.

Когда начальник отдела производственного обучения ВТЗ Николай Васильевич Мухаев узнал, что я пришла к нему по поводу вечерних школ, он полез в карман за спичками.

— Если разрешите, я закурю. Когда речь идет о вечерней школе, я должен закурить.

Затянулся глубоко, посмотрел в окно, мимо которого спешила к проходной пестрая толпа.

— Я ребятам говорю: во Вьетнаме бомбы рвались, и то вьетнамченок какой-нибудь под листом сидел и зубрил таблицу умножения. Отказываюсь некоторых понимать: ведь все условия для учебы есть. До базовой школы — вон, по прямой, пятьсот метров. И школа-то замечательная, кабинеты оборудованы по последнему слову. В прошлом году завод сделал ремонт на пять тысяч сто сорок один рубль. В общежитиях учебные комнаты создали...

Николай Васильевич элегически вздохнул.

— Пятнадцать лет я работаю в этой системе и пятнадцать лет под ружьем, — он поднял вверх палец, как штык, — ведем их учиться.

Сколько же молодых труженников ВТЗ могли бы и должны были бы учиться?

Вот цифры, полученные мною в комитете комсомола. На заводе работает 1 200 человек в возрасте до 29 лет, еще не имеющих среднего образования. Часть из них уже занимается в техникумах и школах. Нигде не учатся восемьсот с лишним человек, шестьсот десять из них — комсомольцы. (Правда, многие из этих восьмисот занимаются в системе политического и экономического образования.)

Наиболее типичные причины, по которым молодые рабочие не идут в ШРМ, уже более или менее известны: мешают ребенок (37 человек), далеко ездить (86), слабое здоровье (101). А вот категория, по понятным причинам интересующая нас больше всего, — та самая, которую иначе как «под ружьем» в школу не доставишь: 160 молодых рабочих отказываются повышать свой образовательный уровень просто из лени и упрямого нежелания учиться, а несколько десятков человек подают заявления только для того, чтобы от них «отвязались».

Справедливости ради (справедливости по отношению ко всей заводской молодежи) надо сказать, что на ВТЗ достаточно юношей и девушек, которые с выдержкой и достоинством несут нелегкое бремя учебы в вечерней школе.

Три года назад четвертую ШРМ окончили муж и жена Невские. Все годы, что учились, они приходили на занятия с маленьким Ярославиком. Вначале учеников забавляло то, как он бежал между столами, смеялся вовремя, и не вовремя же просился в туалет, и, наверно, мешал их занятиям. Но потом поняли ребята, что не от хорошей жизни мать и отец ведут ребенка в душевные аудитории. Ему бы эти три часа не в кабинетах сидеть, а носиться по морозцу в парке. Но его родители готовы получить знания даже такой ценой. Во имя чего? Во имя того, чтобы через много лет, когда выучится и станет взрослым их сын, оказаться равными ему и иметь возможность говорить с ним на одном языке.

...Людмила Федотова получит аттестат в следующем году, когда ее дочка станет пионеркой, а сына запишут в первый класс. И тогда в их семье, состоящей из четырех человек, будет четыре школьника, потому что муж Людмилы тоже учится в ШРМ, только не в четвертой, а этажом выше, в одиннадцатой.

— Ой, как все-таки было трудно, — вспоминает Люда теперь. — Мои девчонки из ОТК тоже думали, что я брошу. А я ведь, — отчаянно сверкает она глазами, — еще в институт хочу!

...Папушкин Сергей из одиннадцатого класса тоже удивительный человек, единственный в своем роде: за время учебы он не пропустил не то что ни одного дня, ни одного урока!

— Я иногда только подумаю: надо бы в школу не пойти — это если устал очень или приболел, — и сразу душа болит.

Он старается говорить солидно, басовито, но бас нет-нет да и прорывается высоким тенорком.

— Да и то сказать — куда еще идти? На танцы? Танцы ничего не дадут. — Сергей дотрагивается рукой до высокого лба, показывает, чему именно танцы ничего не дадут. — А я учусь с удовольствием. И еще читать люблю.

— Что же именно любишь читать? — спрашиваю я.

— Фантастику. Очень хочется знать, — произносит он доверительно, — что будет потом...

Как будто бы достаточно и этих свидетельств любознательности и тяги к знаниям молодых владимирцев, но хочется рассказывать о них, о разных, еще и еще потому, что почти каждый ученик этих особенных школ — это и особая судьба, уже по-взрослому, по-настоящему интересная и трудная. Знакомая с ними, я начинала понимать учителей, которые работают в вечерних школах десятками лет, хотя нагрузки их велики. Школы занимают в две смены, а до смен и между ними — поиски «без вести пропавших», почти ежедневные визиты на предприятия, к родителям, письма,

звонки... Ежедневная упорная борьба за каждого — упрямого, ленивого, легкомысленного.

И все-таки не уходят. «Ведь здесь самые благодарные ученики, — охотно объяснял учителя. — Иному так трудно учиться после перерыва... Сидит, думает и, кажется, слышно, с каким скрипом ворочаются мозги в голове. Всегда хочется такому помочь. Ведь многие из наших ребят (они, даже тридцатилетние, «ребята» для своих учительниц) успели понять, что «неученье — тьма».

Арядом с этими, самыми благодарными учениками, стоят у станков те самые сто шестьдесят неучей «из принципа» и еще сотня-другая школьников, которые бывают на занятиях реже, чем их учителя на заводе. (Средняя посещаемость в ШРМ № 4 — пятьдесят — шестьдесят процентов, в иные месяцы она падает до сорока — тридцати.) И на них-то вынуждены ежедневно тратить сотни рабочих часов учителя и работники завода.

«И что стараются?» — недовольно бурчал стриженный парень с нагловатыми глазами, один из тех, с кем беседовали учителя в моторосборочном. Действительно, для чего?

Предприятию, это ясно, выгодно держать более образованных работников, поскольку они быстрее осваивают новые операции и новое оборудование. Но ведь не каждый день рабочему надо переучиваться; месяцами, иногда годами работает он на одной операции. Так что преимущества образованности не всегда можно, что называется, пощупать рукой. Больше того, в каком-то смысле заводу от учебы рабочих бывает и убыток. Учащиеся ШРМ имеют право на три выходных в неделю, причем «ученический» выходной наполовину оплачивается. Уже накладно. Отпуска они берут только летом. А в июне, когда восьми- и одиннадцатиклассники — по 20—25 человек из цеха — дружно уходят сдавать экзамены, начальство от отчаяния просто криком кричит. Июнь, как нарочно, месяц очень неудобный, им кончается полугодие. А план-то нужно давать...

Ну, а те, кто выучился? С ними новые хлопоты. «Большинство увольняющихся с завода, — сказал Н. В. Мухаев, — люди со средним и более высоким образованием. Знаете, выучились и уже не хотят, не могут какую-нибудь анкерную шпильку — по две тысячи за смену — привинчивать. У людей с образованием и запросы другие».

И тем не менее страна готова на любые издержки, лишь бы поднять всех до определенного уровня образования, потому что умеет смотреть в те времена, когда затраты и усилия эти окупятся.

Но насколько эту готовность реализуют отдельные предприятия, в частности, ВТЗ? Примерно год тому назад работу завода в этом направлении и его базовую, четвертую, школу проверяла комиссия райисполкома. Причина проверки была такая — ШРМ не выполнила план по набору учащихся.

По ходу дела выяснилось, что к школе претензий быть не может, поскольку учителя делают все от них зависящее. На предприятии же были обнаружены следующие недостатки: руководство завода уделяет мало внимания комплектованию ШРМ, нет системы поощрения лучших и порицания худших учеников, в цехах нет уголков школьника, где, как на экране, отражались бы результаты учебы и посещаемости, клеймились бы позором отсеявшиеся без всяких причин; в социальных обязательствах цехов нет даже пункта о повышении образовательного уровня. В постановлении райисполкома, принятом после обсуждения этого вопроса, были высказаны замечания в адрес заводского комсомола, недостаточно энергично участвующего в смотре «Каждому молодому труженнику — среднее образование».

С тех пор прошло больше года. Руководство завода реагировало на него довольно активно. Теперь на ВТЗ в конце полугодия и учебного года издаются приказы директора с поздравлениями и благодарностью лучшим ученикам, их — лучших — награждают ценными подарками. Строже стал спрос за учебные дела с руководства цехов. Правда, при подведении итогов соревнования между цехами по-прежнему не учитывается, сколько в коллективе учащихся и сколько неучей.

А как активизировал свою деятельность комитет комсомола? Я задаю этот вопрос комсомольскому секретарю завода Александру Бабкину и его заместителю, ответственным как раз за работу с ШРМ, Михаилу Шевелеву.

Они отвечают как-то странно: «Райисполком ведь слушал не комсомольскую организацию...»

Ну, а копия решения райисполкома хотя бы в комитете есть?

Бабкин неуверенно пожимает плечами, его заместитель говорит, что решения не видел. А через пять минут, листая папку с деловыми бумагами комитета, мы обнаруживаем эту копию!

И все-таки нужно сказать, что комсомольская организация ВТЗ не забывает о школьных проблемах. Комсомольский актив участвует в комплектовании; отстающих и прогульщиков регулярно прорабатывают на собраниях и бюро. Но как же далеко комсомольцам завода до бесконечного упорства, с каким действуют учителя! Именно им принадлежит инициатива в большинстве начинаний. Учителя, например, завели «Голос школы». Это огромные разграфленные листы бумаги, куда ежемесячно заносятся данные об успеваемости каждого ученика и о том, как он посещал занятия. Учителя же доставляют «Голос школы» на завод. «С ребятами передаете или шлете почтой?» — спросила я у директора. «Что вы! Сами преподаватели по цехам разносят». «Ну, если в этом деле комсомольцы не предложили свою помощь, может быть, они толково распоряжаются «Голосом школы», вешают хотя бы на видных местах? Считается, что дело обстоит именно так, но ни в одном цехе завода мне не довелось увидеть висевшими эти белые листы. В лучшем случае удавалось обнаружить их в папках комсогов, столь же аккуратно подшитыми, как и копия решения райисполкома.

Нет в школьной работе заводского комсомола наглядности, гласности. Нет и нерва, накала, страсти. А ведь, если задуматься, школа и завод ведут борьбу, и борьбу не за определенное количество аттестатов зрелости, а за судьбы человеческие. Парни и девушки, не желающие учиться, как главный аргумент показывают агитаторам свои руки: они, мол, их не подведут. Руки не подведут, а голова? Секретарь Октябрьского райкома КПСС Владимира В. Ф. Сучилина рассказал, с какими сложностями — и не столько техническими, сколько человеческими — была связана электрификация железной дороги между Москвой и Владимиром. Перовские машинисты паровозов — завяжи им глаза, они и так проведут составы — оказались тогда не у дел. Переучиваться многим было поздно, и не спас их многолетний бесценный опыт. «Расковыряли классных специалистов кого куда. Это была острейшая и горькая проблема».

Вот о чем нужно говорить оптимистично настроенным неучам. Может быть, стоит созвать для этого комсомольское собрание и попросить выступить на нем В. Ф. Сучилина и кого-нибудь из тех машинистов; неплохо бы пригласить и главного инженера завода А. В. Гришину, чтобы он рассказал о перспективах завода. (Во многих цехах ВТЗ уже монтируется только сложное оборудование, к которому, как сказал главный инженер, «мы людей без специального образования не подпустим».)

Но доказать, что не вечно можно будет зарабатывать две сотни на завертывании, например, анкерных шплек — это одна сторона дела.

Другая, более тонкая и сложная, — убедить тех, кто меряет все блага рублем, в том, что есть иная система ценностей — духовных, что знания — это богатство уже само по себе, и цена ему год от года будет расти. Как-никак всего через двадцать пять лет наступит XXI век, и войти в него лучше бы «Книгой бытия», как писал В. Луговской, чем «слепой запятой в неразборчивом шрифте».

Много веских, зримых аргументов в пользу образования можно представить тем, кто по молодости или неразвитости недоумевает: «А зачем мне учиться-то?»

Вот и еще один аргумент. В какой-то из первых дней июня я была приглашена в четвертую школу на церемонию последнего звонка. Да, у вечерней школы не только отличия от обычной: здесь и последний звонок звенит и нарядные ученики собираются на выпускные балы!

Все выглядело, как в любой, наверно, школе: стол президиума, заваленный цветами, возбужденные ребята в зале. И даже пионеры пришли приветствовать выпускников. Но... одиннадцатиклассница стояла с пухлым мальчишкой на руках; из общего шума выплыла фраза: «Опять в две смены работаю, замучил цех шестерен» — все это придавало традиционному действу особый колорит. Я бы сказала, что здесь было и грустнее и радостнее, чем в «нормальных» школах, потому что труднее и памячнее оказывался каждый урок.

...Учительница наутра стает своих учеников: «Дружите без расчета! Любите без измены! Боритесь без поражений!»

Ей отвечает гром аплодисментов. Кто-то без конца фотографирует счастливые, гордые лица.

Как много взрослых школьников в этом зале, а ведь не все дошли до конца, не все получили право пережить эту радость преодоления и победы.

Хотя бы только ради того, чтобы жизнь украсилась таким праздником, не стоит разве учиться!

Спорят два человека. Ищут, так сказать, истину. У одного такое мнение, у второго — другое. Чья чаша весов перетянет? Если несговорчивы оба, спор грозит затянуться надолго... Но ведь преодолеть непродуктивное равновесие можно сообща, и сделать это будет тем проще, чем больше людей примет участие в поисках истины. Словом, старая поговорка не будет искажена, если ее чуть-чуть уточнить: в коллективном споре рождается истина. Вот почему мы и решили открыть новую рубрику «Прошу слова!». В ней будут публиковаться статьи и письма спорные, субъективные, неожиданные. Все в дискуссионном порядке.

Если у тебя есть мысли, которые в чем-то не совпадают с мыслями твоих товарищей, если тебе показалась спорной какая-то статья в нашем журнале, если тебе просто есть что сказать, проси слова! Мы опубликуем твоё письмо, попросим высказаться по затронутой тобой проблеме читателей, а если понадобится, предоставим слово человеку, мнение которого для тебя и для всех участников дискуссии будет авторитетным.

Рубрику мы открываем письмами двух читателей, высказывающих прямо противоположные взгляды на одну и ту же проблему. Выбор ее вряд ли кого удивит — ведь только что окончились вступительные экзамены в вузы...

ПРОШУ СЛОВА!

«Не плачьте, девочки!...»

Уважаемая редакция!
Могу себе представить, сколько вы получите сейчас писем, пропитанных слезами, от неудачников, которые не прошли по конкурсу. Я уже видел в метро и в трамваях заревавших, несчастных девочек. Значит, наступил август, кто-то уже провалился в институт и считает, что жизнь кончена. Я не стал бы писать в редакцию, если бы эти смешные трагедии не повторялись из года в год. Ну, отчего люди так поздно умнеют? Я и сам-то поумнел примерно на год позже, чем следовало. Поступал в энергетический институт (три года назад) и недобрал баллов. Что делать дальше, как жить? Родители мои с детства меня шпиговали: учись, чтобы попасть в институт. Отец у меня перводклассный слесарь, мать окончила техникум. Отцу и приятно, что жена у него с дипломом, и стыдно, наверное, немного, что у него образование ниже. Потому-то меня в институт нацеливал — чтобы я и за себя и за него поучился. Ну, а мать... она всю жизнь горевала, что не дотянула до института, и предстать себе не могла, как это ее старший сын вуза не окончит. Вот так с двух сторон мне в уши аливали такую агитацию. И вдруг я проваливаюсь в институт! Помню, приехал домой, никого нет, пусто так, невыносимо. А главное, неизвестно, чем завтра заниматься. Я с горя (и с дурости) написал записку: «Провалился. Пошел топиться». «Топиться» — это, конечно, был стратегический маневр, чтобы меня пожалели и не очень пияли. Написал и пошел куда глаза глядят. Не заметил, как приехал на Ленинские горы. Искупался. И, представляю, к вечеру мне и самому стало смешно от всех этих переживаний: чего рыдать-то? Жизнь, что ли, кончилась? Солнце светит, река течет, люди мимо идут нарядные,

веселые. Неужели же все они, думаю, с высшим образованием?

Поздно вечером прихожу домой, а там паника. Я ведь пошел «топиться»!

Кое-как привел мать в чувство. В те дни она поседела. Утверждает, оттого, что я не поступил. Но главные ее переживания были еще впереди, потому что за год работы на заводе (я пошел на завод к отцу) я понял, что в институт не пойду, не хочу. Да, милые заплаканные девочки, я для вас пишу это письмо: я сознательно решил не идти в институт, хоть материальные условия и позволяют сидеть на шее отца и матери. Помните, какой анекдот однажды рассказал Юрий Никулин по телевизору? Едет в автобусе юноша, слабый, бледный, его даже качает. Как выясняется, он студент, едет сдавать «хвосты». «А это что за манитош у вас на руке?» «А это мой друг, он отличник». Так вот, я понял, что не хочу стать «манитошем» — молодым старичком, хочу быть сильным, здоровым, сам зарабатывать себе на жизнь. А главное, хочу быть свободным. Кончилась смена, я переоделся, вышел с завода — и вольная птица. Я увлекаюсь велоспортом и туризмом, у меня много друзей. Жизнь, как видите, не стала скучной оттого, что я не в институте. А что касается знаний, то и здесь я не чувствую себя ущемленным. Разработал программу самообразования на три года (философия, литература, немецкий), много читаю. И в читалках сижу в точности, как наши уважаемые студенты. Но я за три года пройду все, что они в муках будут одолевать за пятилетку, ведь я выкинул из своей программы всех писателей, которых терпеть не могу еще со школы. Я свободен в своем выборе и в привязанностях — никто не заставит меня восхищаться инфантильным Безуховым, например. И в то время, как «счастливики» в институтах будут, как лягушку, препарировать его образ, я его просто проигнорирую. По-моему, даже ради такого удовольствия стоит провалиться в институт. И вообще, кто знает, может быть, именно таким, как я,

принадлежит будущее — рабочим, которым не чужда высокая материя благодаря самообразованию? Так что, не плачьте, девочки и мальчики, в августе, а смело идите ко мне в комнату.

Сергей П., не поступивший в энергетический институт и очень довольный этим обстоятельством.

Свет клином...

Дорогие товарищи!
Может быть, то, о чем я пишу, глупо и смешно...

История моя проста, хотя наверняка знаю, что найдутся люди (они и находятся), которые смогут все разложить по полочкам и в то же время не объяснить ничего.

Я поссорился с девушкой, с которой дружил три года, что по современным понятиям дольше, чем долго. Мне никогда не приходило в голову, что так может все кончиться... И по одной простой причине: она поступила в институт, а я — нет. Сейчас она уже перешла на второй курс, а я второй год «вкаливаю» на заводе. Не подумайте, что в слово «вкаливаю» я вкладываю свое, не вполне удовлетворительное отношение к работе. Просто так теперь многие говорят... Не могу сказать, что работа мне не нравится. Да и получаю для ювчика прилично. Одно лишь не помещается в голову: почему я должен стоять у станка в то время, как другие учатся в вузах? Я не кажуся себе глупее и бездарнее их...

После неудачи в прошлом году мне казалось, что жизнь сломана. В первые дни навалилось такое отчаяние, что, если бы не Ольга (так зовут ту девушку), не знаю, чем бы все кончилось... Она помогла мне тогда, как никто: не охала, не причитала, а уверяла, что я поступаю на следующий

год и что она не даст мне отстать. И обещала рассказывать все, что будет узнавать в институте... В течение первой половины учебного года так все и было. Отношения с Ольгой как будто не изменились. Но постепенно (где-то после зимних каникул) я стал замечать, что она все с меньшей охотой отрывалась от студенческой компании. Она тоже понимала, что что-то не так, даже пыталась ввести меня в свой новый круг, но теперь мне стало ясно, что самообразование после рабочей смены — это не то, что учеба на дневном отделении института.

Во время одного из разговоров Ольга запальчиво заявила, что «мужчине не идет быть неудачником». Так мы поссорились в первый раз. А недавно — второй, уже навсегда...

Вы, наверное, скажете, что Ольга не тот человек, терять которого жаль... Но легко судить со стороны. Да и чем она плоха? Все считают так же, как она.

В этом году я опять провалился. Правда, без треска: чтобы стать студентом, мне не хватило всего одного балла. Тем и утешаюсь...

По-моему, не искренни те, кто поговаривает, что, дескать, институт им вовсе ни к чему, что можно получить и образование и культуру, работая простым слесарем. Когда-то я и сам так думал, но сейчас не поверю. На своем, как говорится, опыте, достаточно горьком, испытал и понял, что неравенство есть. А разве это плохо — стараться быть в лучшей половине?

Раньше у меня плавали в голове какие-то благородные и моралистические идеи. Теперь этого нет. Я буду кусаться и царапаться, но поступаю в институт обязательно. Можете смеяться надо мной, сколько влезет, но для меня на институте свет клином сошелся.

Пишу я это потому, что уверен: так рассуждают большинство вчерашних десятиклассников. И в то же время, если говорить совершенно честно, меня не оставляет ощущение, что где-то что-то не так...

С уважением
Олег Янсон.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя эти письма, мы надеемся,

что наши читатели выскажут свою точку зрения по проблеме,

затронутой Олегом Янсоном и Сергеем П.

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ!

ТРЕТИЙ СТИМУЛ

Размышления о молодежной стройке

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

ЗА ЧЕМ ЕДУТ ДУРАКИ?

Кемеровская область, г. Осинники, Тана Ч.

Милая Таня!

Вы прочли в журнале начало этих заметок и прислали мне очень искреннее и очень злое письмо. Спасибо за искренность, спасибо за злость. Ваша яростная критика куда дороже безликих, равнодушных похвал... Но выслушать критику и поблагодарить за это — четверть дела. Главное — спокойно и вдумчиво разобраться, кто же прав. Может, я. Может, Вы. Может, истина лежит посерединке. А бывает, и вообще сбоку...

Я пытался понять, почему ребята уезжают со стройки. До утверждений у меня дело не дошло. Пока я только отрицал: не потому, что трусы, и не потому, что рвачи. Все сложнее.

Вы же обвиняете меня в том, что я строю «в общем-то на самых обычных человеческих потребностях и желаниях воздушный замок, нечто из рыцарских времен», проповедуя «голый энтузиазм и одержимость».

Вы пишете:

«Я не буду говорить за тридцатые — сороковые годы, но определенно скажу, что в семидесятых «за туманом едут только дураки». Это несколько видоизмененная, известная всем нам песенка о возвышенном, чистом и прекрасном. Ребята уезжают со стройки потому, что нулевой цикл в Набережных Челнах окончен и возможности получить то, чего эти ребята хотели, в общем-то теперь сведены к нулю. Вот отчего едут туда, «где труднее», как пишете Вы. И Ваш грузин из Тбилиси приехал не с энтузиазмом в душе, а с простым человеческим желанием — за-ра-бо-тать».

Для начала — я меньше всего намерен пропагандировать поверхностный романтизм. Строительное дело требует подхода трезового. В частности, я думаю, что при нынешнем уровне научной и инженерной мысли голый энтузиазм — это самый глупый энтузиазм. На одних порывах, даже самых возвышенных, далеко не уедешь. Лихой напор, не проверенный расчетом, обычно дорого обходится и самим энтузиастам и государству, ибо за восторженную неразбериху в делах хозяйственных всегда приходится расплачиваться.

Одержимость — тут посложней. Ведь она относится к сфере индивидуальных человеческих качеств, она в характере, в личности. Ее нельзя ни навязать, ни запретить. Во всяком случае, любой литератор, ученый, спортсмен знает, что это вещь, реально существующая. Да и влюбленный знает, ведь любовь тоже форма одержимости.

Кстати, для творческого человека, будь он артист, наладчик или автомеханик, одержимость — просто наиболее продуктивное и потому удобное рабочее состояние. При ленивом течении мысли мало-мальски сложную задачу вообще не решишь...

Но главное наше с Вами расхождение не в этом. Вы, Таня, считаете «за-ра-бо-тать» простым человеческим желанием. Будь оно так, а бы Вас без колебаний поддержал.

Но за этим простым и понятным желанием кроется и другое. Разве человеку только бумаги нужны сами по себе? Нет ведь! Деньги — лишь средство для осуществления «простых человеческих желаний». И если бы это средство действовало безотказно, предмета для спора у нас с Вами не было бы.

Увы, хрустящие прямоугольнички хороши, но не всемогущи. За деньги можно купить только

то, что продается. Квартиру, машину, вещи. Это совсем не мало для жизни, это много!

Но ведь друга не купите. Любовь не купите. Счастье? Полно покупателей, да кто продаст?

Есть еще и такая неприятная закономерность. Чем больше человек зарабатывает, тем настырней липнут к нему всякие небескорыстные компаньоны. Вот и жди беды, чтобы, наконец, понять, тебя любят или твои заработки.

Снова оговорюсь: вовсе я не против высоких заработков. Я только против обожествления денежных знаков.

Кстати, думаю, Ваше предположение о том, что молодежь едет только за деньгами, — иллюзия. Будь так, в районах с высоким коэффициентом проблемы рабочей силы не было бы вообще. И, например, из богатых колхозов, где и заработки высоки и жилья хватает, никто бы не уходил.

Однако уходят...

Вот Вам двадцать один год. Неужели Вам не хочется посмотреть мир? Хочется, наверное. И, небось, деньги платите за туристическую путевку, чтобы попасть в края, где еще не бывали.

А другому и этого мало. Хочется не только поглядеть, как живут люди в Средней Азии или, допустим, в Заполярье, но и попробовать эту жизнь на ощупь и на вкус.

Известно, что в былые времена в районах золотых приисков кабатчики богатели куда быстрее, чем золотоскатели. Все же подавляющее большинство молодого народа манила неверная планета старателя, а не надежные чаевые в кабаке. Да, гнались за деньгами. Но разве только за ними стремились в суровые края прототипы и поклонники героев Джека Лондона?

«За туманом едут только дураки», — пишете Вы. Но все больше народу тратит трудом добытые деньги на то, чтобы месяц болтаться на плотах по таежной реке или пешком шагать через горы. И сами же за это платят.

Что-то прибавляется на земле «дураков».

Чувствую, нам не избежать разговора о романтике. Я о ней и раньше думал немало, причем в разном возрасте — по-разному.

В двадцать лет — с восторгом. Мне казалось тогда, что горячность и бескорыстие сами по себе гарантируют решение всех проблем. А парня, поющего «Бригантину», сразу воспринимал как друга.

Потом я поехал по стране, побывал, в частности, на стройках, начал немного больше разбираться в жизни и увидел другую сторону романтики. Я стал высмеивать и разоблачать «розовую пробку», которой нерадивые хозяйственники пытаются заткнуть все свои дыры, фиговый листок, сплошь и рядом прикрывающий безалаберность и халтуру. Неоновый парус над входом в скучное, захлащенное кафе казался мне символом этой слащавой и далеко не бескорыстной торгово-хозяйственной «романтики».

Видимо, пришла пора говорить о романтике в третий раз.

Как Вы думаете, Таня, что есть жизнь? Сума прожитых дней? Но тогда старичок из соседнего переулка, продремавший полвека в ночных сторожах, куда счастливее и Лермонтова, и Эвариста Галуа, и Юрия Гагарина. Вот уж повезло человеку — девятый червонец разменял!

Не точней ли будет сказать, что жизнь — сума сделанного и пережитого?

Так вот, мне кажется, в массе своей сегодняшние романтики вовсе не голубоглазые слюнтяи, которым хочется «чего-нибудь красивого». Скорей, это неглупые, в парадоксальном смысле слова даже расчетливые, люди, которые стремятся за каких-нибудь пять-шесть молодых лет познать столько трудностей, побед, сомнений, успехов, разочарований, удач, неудач, взлетов, падений и новых взлетов, сколько ленивому не выпадет и за пять ровных, однообразных десятилетий...

Не так уж и глупо, а?

Вот вы идете в парк, выстаиваете очередь к качелям и платите двугривенный. За что? За взлеты и падения. А в жизни, если вы романтик, за то же самое платят вам. Не такие уж дураки едут «за туманом».

Естественно, когда на стройку приезжает человек семейный, ему бывает и не до тумана. Ему надо гнездо вить, он за детей своих отвечает. Вот тут материальный интерес часто выходит на первый план.

Но если за деньгами едет восемнадцатилетний мальчишка...

За счастьем, за знаниями, за профессией, за опытом, за любовью, даже за приключениями — все понимаю. Но за деньгами в восемнадцать лет едут только дураки...

Вот, Таня, что думаю я по этому поводу. Может, я и не во всем прав. Но в одном уверен: что разговор наш с Вами не пустой, что сводить все к рублю так же наивно, как и отрицать роль рубля. Сложней проблема, куда сложней!

ТРЕТИЙ СТИМУЛ

Как-то в Челнах я услышал четверостишие — отрывок из поэмы местного автора. Кто прочел, не помню, фамилия начинающего поэта тоже вылетела из головы, но сами строчки запомнились.

Вот они:

...Только что бы ты ни строил,
Это будет балаган,
Если только ты не строишь
Вольный город Зурбаган.

Балаган — это, конечно, некоторый перебор. Зурбаган — тоже сильно сказано. Вообще молодой автор в выражениях не стеснялся.

Но не будем ловить его на риторике, на громком слове, не снабженном положенными оговорками. Лучше попытаемся понять, что подразумевал челнинский парень под своим «Зурбаганом». И почему товарищи его помнят четверостишие наизусть и так охотно читают новым знакомым. И почему, кстати, из многих стихов, слышанных и читанных на разных стройках, задели меня именно эти четыре строки.

На последний вопрос мне ответить проще всего. Эти не слишком складные стихи, с их повторами и небрежной рифмовкой, очень точно схватили настроение, которым, на мой взгляд, пронизан сам воздух молодежных строек, по крайней мере тех, на которых я бывал.

Помню, в Темиртау, в самом начале шестидесятых я спросил умную девочку, второй год малярившую в жилстрое:

— Как ты считаешь, каким должно быть общежитие на стройке?

Девочка не удивилась вопросу и не задумалась, разве что секунды три искала формулировку:

— Общежитие? Оно должно быть... ну, чем-то вроде молодежной коммуны.

Я изумился: она слово в слово повторила то, что думал по этому поводу я сам.

Между прочим, жила девочка в общежитии — деревянном, примитивном, с минимальными удобствами, в комнате на шесть коек. И всю осень (а разговор у нас был осенний) стройка утопала в грязи, так что собеседница моя по нескольку раз в день — перед общежитием, перед столовой, перед прорабкой — специальными скребками счищала грязь с резиновых сапог и мыла их в специальных корытцах, сваренных наскоро из железных листов...

И еще несколько ребят, которым я задал тот же вопрос про общежитие, ответили примерно так же.

Стройка была тяжелая, многопроблемная. И

идея наша выглядела наивно, нелепо, предельно непрактично. Но она носилась в воздухе.

Помню Кондопогу, гостиницу, соседа по многоквартирному номеру — невзрачного и добродушного, с расплывчатой улыбкой — Лешу. Он был парень безалаберный и добрый. Заработки предпочитал хорошие, но, получив деньги, терял к ним интерес — хоть пропить, хоть раздать, хоть растерять. Леша в Кондопоге рассчитался, теперь ехал куда-то в Архангельскую область.

— А там что? — спросил я.

— Там, говорят, здорово, — отозвался Леша.

— А что здорово-то?

— Да хорошо.

Ничего более внятного я от него не добился. Да и не знал он больше ничего. Просто какой-то парень в автобусе сказал, что там здорово.

Леша не читал Грина, даже имя это вряд ли слышал, но и его влекло с места на место, со стройки на стройку все то же гриновское, с прописной буквы, Несбывшееся.

Еще помню Дивногорск. Я попал туда, когда плотина уже стояла, а ГЭС работала. Волна строителей почти склынула, и благоустроенный городок стал спокойным и малолюдным. Но вчерашние монтажники и бетонщики, по разным причинам осевшие в Дивногорске, притихли и затосковали.

Да, наладился быт. Да, ушла суета и неразбериха стройки. Да, наконец-то просторней стало с жильем.

Но таинственная тень Зурбагана не лежала больше на удобном, устоявшемся городке.

Между прочим, на всех стройках быстро возникали и, увы, быстро распадались молодежные кафе и клубы. Вряд ли случайно в названиях их без конца мелькали бригантины, каравеллы и, разумеется, алые паруса. Вообще Грин, долгие годы считавшийся писателем, далеким от жизни, вдруг оказался лучшим другом прорабов, завхозов, кадровиков и прочих весьма практических людей — он привлекал рабсилу на дальние стройки куда успешней, чем прямолинейные плакаты оргнабора.

Из этих романтических предпосылок вывод можно сделать вполне будничным: молодежь, ехавшая на новостройки, хотела жить ярко и интересно, а как именно, увы, не представляла.

Каким должно быть общежитие?

Каким — клуб?

Каким — коллектив?

Каким — весь будущий город?

Обо всем этом молодежь имела соображения зыбкие и неопределенные, как тот туман из уже упомянутой выше знаменитой песенки. Достоверно ребята знали только одно: алые паруса лучше серых. Однако, как известно, большинство строев до времени обходится и без алых и даже без серых парусов. Жизнь в дальних краях оказывается не только трудной, но и скучной, что, естественно, никакими мечтами не прудомотрено. И, крепко недополучив желанного «тумана», то есть всего того, о чем грезилось дома, ребята едут дальше, туда, где, по слухам, «тумана» хватает на всех.

А на их место приезжают новые, искать свой Лисс или Зурбаган.

Был, кстати, в Челнах такой случай. Новички часто пишут на спинах спецовок названия родных городов: Смоленск, Рига, Курск. А один парень, выросший в маленьком татарском поселке, крупно, от плеча к плечу вывел «Зурбаган».

Туман, Зурбаган... Слова разные, но содержание за ними встает в общем-то одинаковое. Поскольку я пишу не стихи, а статью, попробую заняться довольно неблагодарным делом: в сугубо прозаической манере определить, что же это такое — Зурбаган?

Если совсем коротко, это место, где тебе хорошо. Не обязательно сыто, не обязательно комфортабельно, но непременно хорошо. Или, как сказал моему соседу Леше незнакомый парень в кондопожском автобусе, здорово.

Это место, где разум твой и все пять чувств находятся в радостном напряжении, где днем ждешь вечера, а засыпая, хочешь, чтоб утро пришло скорей.

Это место, где дело твое тебе интересно, и то, что творится вокруг, тоже интересно.

Это место, где можно жить, не оглядываясь, где рядом всегда друг. Где можешь не бояться, что тебя неверно поймут.

Это место, где нет ханжей, где ничто человеческое никому не чуждо.

И, наконец, это место, где уровень общения по-настоящему высок, а количество его на человеческую душу — по потребности...

Построить не только город, не только завод, построить по-новому и личные отношения — вот

о чем мечтают и ребята, поющие песенку о тумане, и парень, написавший стихи про Зурбаган.

Возможно, на фоне гигантских объемов работ в Челнах все это может показаться не слишком существенным. Уверен, однако, что это не так. Такими зыбкими вещами, как интерес, радость, общение, удовлетворение, чем дальше, тем больше придется заниматься экономистам, социологам да и просто хозяйственникам. Придется. И уже приходится.

Вот вам общежитие в Челнах. Трехкомнатная квартира заселена по холостяцкой норме: восемь девушек, а одно время жила и девятая. Возраст — от семнадцати до двадцати двух. Образование — у всех десятилетка. Как раз то, что нас интересует.

Вот сидит на полу девочка Таня, джинсы в обтяжку, подбородок в коленки. Сидит, рассказывает, как в выходной ходили с Верой по ближним деревням и наткнулись на старуху — бывшую ковровщицу. Та показала им удивительный ковер. Главное, таких в мире больше нет. И от туркменских отличен и от таджикских. Совсем другой ковер...

А зачем ей этот ковер? На стенку не повесишь, да и стенки собственной в близком будущем не предвидится. И мысли о купле-продаже не было. И денег — только на еду.

А вот поди ж ты! Приятней жить, когда знаешь, что между Челнами и Елабугой кто-то сработал уникальный ковер!

Таня — отделочница, заработок скачущий: когда двести двадцать, когда восемьдесят. Но проблема денег для нее не остра, хватает, на крайний случай — родители живы-здоровы. Однако с той же Верой собирается на БАМ, отработав на КамАЗе год с небольшим.

Почему?

Объясняет, кивнув на двадцатидвухлетнюю соседку по комнате:

— КамАЗ — стройка их поколения. Наша стройка — БАМ.

Тон у нее спокойный, без всякой возвышенности. Как у актрисы, которую ввели в уже поставленный, готовый спектакль, а она мечтает о работе новой, с самого начала, где придется не перенимать чужой рисунок роли, а все искать самой.

В соседней комнате стол завален свежестпечатанными фотографиями. Снимала и печатала Аленка. Работает бетонщицей, думает поступать в институт. А сегодня уехала в Менделеевск — там, говорят, выбросили книжку с репродукциями Ван-Гога.

А самая интересная фотография — на стене. Это не Аленка снимала, это Рита из Казани с собой привезла. Рита и изображена на снимке: сидит на лавочке, а у ног — лев. Она до Челнов в Казанском зоопарке работала. Еще балетом увлекалась. Теперь — отделочница. Хочет ли учиться дальше? В принципе да. Но не торопится. Поживет — увидит.

Еще одна хозяйка квартиры — Наташа. Худощава, элегантна и невозмутима. Черные брюки подчеркивают все, что надо подчеркнуть. А легкая блузка, наоборот, сидит свободно — по жаркой погоде в самый раз. И — огромная курчавая копна, черная с рыжиной. Если парик, то стоит недешево. Сидит на койке, на коленях гитара, на столе рядом — незаконченная голова, вырезанная ножом из пенобетона: модный нынче примитив, вроде идолов с острова Пасхи.

Наташа наигрывает тихонько, а я читаю ее стихи — усложненные, с ассоциативной рифмой и явным избытком звукописи.

Очень рафинированная девочка.

Волосы, однако, у Наташи свои, незавитые и некрашенные. Просто повезло человеку — бывает. И родом с Кубани она, из села. Набережные Челны — первый в ее жизни город. Работает бетонщицей уже года три. А ее элегантная, рафинированная невозмутимость — процентов на восемьдесят просто деревенская сдержанность.

В вуз поступать пробовала дважды. Не попала и не очень огорчается: процесс жизни достаточно интересен сам по себе. И она не скучает. Есть хорошая компания. Ходит в литературное объединение «Орфей». И сама ведет литобъединение в школе-интернате. А получилось это случайно. Знакомые ребята часто ругали школу-интернат: скучно, мол, там, бестолково, детишек жалко. Наташа подумала: все кричат, возмущаются — значит, ничего не сделают. Поехала в интернат, сговорила с малышкой, название литобъединению придумала: «Чебурашка».

А немного погодя еще одна девочка из Наташиной комнаты тоже стала ездить к ребяташкам — организовала у них танцевальный кружок.

Общественные нагрузки?

Да ни боже мой!

Только собственное удовольствие. Возиться с

детворой — самое благодарное дело...

Все это я рассказываю не для того, чтобы читатель понял, какие хорошие девчата живут в Челнах. А для того, чтобы, вернувшись к теме нашего разговора, задать вопрос: что может удерживать на стройке этих и подобных им девушек и ребят, вчерашних десятиклассников, сегодняшних строительных рабочих? Современных молодых рабочих, которых с каждым годом все больше и к которым опытные руководители наших СМУ, трестов и управлений пока не могут до конца приспособиться?

Материальный стимул?

Пока не женятся и не выйдут замуж, пока за спиной надежные родители, лишняя двадцатка в месяц на них действует слабо. Вечер в хорошей компании важнее. Надежды на квартиру года через три? Но дай им бог до того времени выбрать, где бы им, собственно, хотелось жить...

Моральный стимул?

С этим сложно, надо объяснять подробнее.

Говорят, молодежь сейчас не та, что в тридцатые. Тогда, мол, самоотверженности, самоотрешенности было побольше. Вот когда Магнитку строили...

Да, тот же КамАЗ, например, строят не так, как Магнитку. Не так, как поднимали в начале тридцатых годов куда более скромный по мас-



штабам Первый подшпикниковый на окраине Москвы.

Но давайте спокойно разберемся в психологических причинах этого явления, а именно: почему сегодняшняя молодежь выглядит менее самоотверженно?

Подшпикниковый стране был жизненно необходим — без подшпикников нельзя было бы ни поднять индустрию, ни наладить транспорт, ни выстоять в явно надвигающейся войне. А громадный КамАЗ очень важен, но жизненно необходимым его не назовешь, будет преувеличение. Вообще наша промышленность достигла сейчас такого уровня, когда важных строек много, но судьбу страны не решает из них ни одна.

И парень, уходящий со стройки на другую или на завод, вовсе не чувствует себя беглецом и предателем, что бы ни кричал ему вслед раздосадованный мастер: ведь и в другом месте люди нужны, а уж что выбрать — это его личное дело. Зато, заметьте, на Даманском, когда действительно решалось многое, люди стояли до конца. Ведь там-то никто не ушел! Те же самые вчерашние десятиклассники проявили такую самоотверженность, что сравнение с солдатами Отечественной вовсе не выглядело натяжкой.

А ведь парни на Даманском были самые обычные, никто их специально не отбирал. Ря-

довой участок бесконечной границы, — кто мог знать, что коварный и кровавый узел завяжется именно здесь!

Или другой случай, сугубо гражданский. Помните, оспа в Москве? Как напряженно, собранно и одержимо работали тогда наши медики, не в последнюю очередь молодые! Угроза эпидемии была вполне реальна, и агитировать не пришлось никого.

Нет, молодежь не стала менее самоотверженной. Просто чем мощней и значительней делается наша экономика в целом, тем меньшая доля значимости падает на каждую отдельную стройку. И молодежь не может этого не ощущать. Такова реальность, и ее следует иметь в виду.

Есть и такая форма морального стимулирования, как похвала в разных ее проявлениях: доска почета, благодарность в приказе, грамота, статья в многотиражке и т. д. Но сколько народу можно похвалить на сотысячном КамАЗе? Сотню? Капля в море. Десять тысяч? Обесценится похвала. Да и легко ли выделить действительно лучших, скажем, из нескольких тысяч челинских водителей, когда и машины у них разные, и условия разные, и задания разные?

В силу этих и ряда других причин оба традиционных стимула на наших девочек из общежи-

тия действуют средне. И работать им хочется не столько там, где платят, и не столько там, где хвалят, сколько там, где им будет хорошо. Словом, их тянет туда, где «туман» из песенки и Зурбаган из стихов.

Но эти мотивы далеко не очевидны и запрятаны глубоко. Потому и вырвалась такая фраза у одного из руководителей стройки:

— Не могу понять: почему они уезжают?

Да, привычная формула: «Материальный стимул плюс моральный стимул равняется устойчивости кадров» — увы, нынче не точна. В ней появился некий *икс*, не разобравшись в котором, уравнения не решишь.

Я бы определил его как *духовный стимул*.

Это могучий стимул. На молодежь он действует безотказно, и значение его непрерывно будет возрастать. Деньги нужны всем, но не для всех они свет в окошке. О доске почета мечтает опять же не каждый. Но каждый хочет, чтобы ему было хорошо!

Однако может ли стройка предоставить человеку не только общежитие и зарплату, но и это самое «хорошо» — весьма субъективное ощущение?

Если бы не могла, весь наш разговор вряд ли стоило бы затевать. Но об этом — в следующий раз...

«Я — с ударной комсомольской!..»

Фото Владимира ЧЕЙШВИЛИ



МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Я рассовал книжки по карманам и, направляясь к двери, сказал:

— Слушай-ка, Жеглов, неужели ты все это запомнил?

— Ну, более-менее запомнил — нам без этого никак нельзя. Закон точно любит, на волосок сойдешь с него — кому-то серпом по шее резаешь. Но главное в нашем деле — революционное правосознание! Ты еще права не знаешь и знать не можешь, но сознательность у тебя должна быть революционная, комсомольская. Вот эта сознательность и должна тебя вести, как компас, в защите справедливости и законов нашего общества...

На лестнице было пусто и сумрачно, и от этого слова Жеглова звучали очень громко, гудко перекатываясь они в высоких пролетах, и со стороны могло показаться, что Жеглов говорит с трибуны перед полным залом, и я невольно оглянулся посмотреть, не идет ли следом за нами толпа молодых сотрудников, которым усталый, возвращающийся с дежурства Жеглов решил дать пару напутственных советов.

Мы зашли в дежурку, где сейчас стало потише и Соловьев пил чай из алюминиевой кружки. Закусывал он куском черного хлеба, присыпанного желтым азиатским сахарным песком, и от зрелища этого мне прямо-таки истерически захотелось есть.

— Что, Петюня, прохлаждаешься? — проткнул Жеглов, глядя на Соловьева, и я подумал, что нашему бригадиру, наверное, досадно видеть, как старший лейтенант Соловьев вот так празднично сидит за столом, гоняя чай с вкусным хлебом, и нельзя дать ему какое-нибудь поручение, заставить сделать что-нибудь толковое, сгонять его куда-нибудь за полезным делом — совсем бессмысленно прожигает сейчас жизнь Соловьев.

Рот у дежурного был набит до отказа, и он промчал в ответ что-то невразумительное. Жеглов блеснул глазами, и я понял, что он придумал, как оправдать бесполое ночное существование Соловьева.

— Откуда у тебя, Петюня, такой раскрепосный сахар? Нам такой на карточки не отоваривали! Давай, давай колпачок: где взял сахар? — При этом Жеглов смеялся, и я не мог сообразить, шутит он или спрашивает всерьез.

Соловьев, наконец, проглотил кусок, и от усердия у него слезы на глазах выступили.

— Чего ты привязался — откуда, откуда? От верблюда! Жене сестра из Коканда прислала посылку!

Жеглов уже отворачивал один из ящиков его стола, приговаривая:

— Петюня, не вьедливый я, а справедливый! Не всем так везет — и главный выигрыш получить и золотку иметь в Коканде! Вот у нас с Шароповым родни — кум, сват и с Зацепы хват, и выигрышаю я только в городки, поэтому мы с трудов праведных и чаю попить не можем. Так что ты уж будь человеком, не жадись и нам маленько сахарку отсыпь...

Соловьев, чертыхаясь, отсыпал нам в кулек, свернутый из газеты, крупного желтого песка, и, пока он был поглощен этим делом, попускаемый быстрым жегловским баритончиком: «Сып, сып, не тряпись руками, больше просыпешь на пол». Жеглов вынул из кармана складной нож с кнопкой, лезвие из ручки цевкой брызнуло, быстро отрезал от соловьевской краюхи половину и засунул в карман.

Соловьев сердито сказал:

— Знаешь, Жеглов, это уже хамство! Мы насчет хлеба не договаривались...

— Мы насчет сахара тоже не договаривались, — засмеялся Жеглов. — Скаредный ты человек, Петюня, индивидуалист, нет чтобы добровольно поделиться с проголодавшимися после тяжелой работы товарищами...

— А я тут что, на отдыхе, что ли? — спросил Петюня и улыбнулся, и я видел, что вся его сердитость уже прошла и что удалство и нахрипистость Жеглова ему даже чем-то нравятся, наверное, глубинным сознанием невозможности самому вести себя таким макаром, чтобы чужой хлеб располовинить и тобой же довольным остаться.

— У тебя, Петюня, работа умственная — на месте, а у нас работа физическая — целый день на ногах, так что нам паек должны были бы давать побольше. А засям мы тебя обнимаем и пишем письма — пока! Ну, чуть не забыл: утром придет Иван Пасюк, скажи ему, чтобы нигде не отлучался, он мне понадобится...

В дверях я оглянулся и увидел, что на круглом веснушчатом лице Соловьева плавают благодушная улыбка и покачивая он при этом слегка головой с боку на бок, словно хочет сказать: ну и прохвост, ну и молодец...

Вошли ко мне, я щелкнул выключателем, и Жеглов быстро окинул комнату глазом — от двери до

окна, от комода до кровати, — словно рулеткой промерил, потом, не снимая плаща, устало сел на стул и сказал довольноно:

— Хоромы барские. Как есть хоромы. В десяти минутах ходу от работы. Ты не возражаешь, я у тебя пожизненно немного? А то мне таскаться на эту Вашиловку проклятую, в общежитие, душа из него вон, просто мука смертная! Времени и так никогда нет, а тут, как дурак, полтора часа в день коту под хвост. Значитца, договорились?

— Договорились, — охотно согласился я. Жить вместе с Жегловым будет гораздо веселее, да и вообще Жеглов казался мне человеком, рядом с которым можно многому научиться.

— Ты как насчет того, чтобы подзаправиться перед сном? — спросил Жеглов. — У меня кишка кишка фиги показывает.

Я отправился в кухню ставить чайник, а Жеглов выложил на стол кулек с сахаром, краюху хлеба, банки с американским «лаачен мит». Жеглов выдал на тарелку кусок неестественно красное консервированного мяса, которое видом и запахом не похуже было ни на какие наши консервы.

— Говорят, что их американцы из китового мяса делают специально для нас. — Я зачарованно глядел на мясо и чувствовал, как слюна терпкой волной заполняет рот.

— Уж, наверное, не из парной говядины, — мотнул головой Жеглов. — Они говядинку сами жрать здоровы. Уж, и разкирует на нашей беде мировой империализм! Нам кровя и страдания в войне, а им барыши в карман! Суки гладкие... — И он отхватил от бруска мяса громадный кусок.

— Это как водится, — кинул я, с наслаждением глотая очень вкусные консервы. — Мы им в июле месяце в городке Обермергау передавали «студебекеры», что по ленд-лизу за нами числятся. Так они их требовали в полном порядке и комплект, без гайки одной не примут. А потом они их на наших глазах прессом давили. Свиство!

— Во-во! А у нас в деревнях бабы на себе да на коровах пашут, мать мне недавно отписала, как они там вальсуют, хозяйство поднимают. Да ничего, погоди маленько, понастроим своих машин, получше их «студеров». Будет еще такая пора, это я тебе, Шаропов, точно говорю, каждый трудящийся сможет зайти в универсам и купить себе лимузину. Ты-то сам в автомобилях смекаешь? Любишь это дело?

— Очень, для меня машина, как существо живое, — сказал я.

— Ну, тогда будет тебе со временем машина, — пообещал твердо Жеглов и распорядился: — Давай волоки сюда чайник... Очень вкусная китятина, ничего не скажешь...

Выпили сладкого чая, который от желтого песка чуть-чуть припахивал керосином, съели толстые ломти бутербродов, Жеглов встал, хрустиво потянулся, сказал:

— Я на диване спать буду, не возражаешь?

Быстро разделавшись, улегшись, и я обратил внимание, что Жеглов совершенно автоматическим жестом вынул из кобуры пистолет — черный длинный «парабеллум» — и сунул его под подушку.

Уже в темноте, умащиваясь удобнее под одеялом, я сказал:

— А хорошо ты сегодня отработал Шкандыбина...

— Это которого? Того болвана, что из ружья пальнул?

— Ну да! Как-то все у тебя там получилось складно, находчиво, быстро. Понравилось мне! Вот бы так научиться!

— Научись же. Это все не дела — это семечки. Тебе надо главное освоить — со свидетелями работать. Поскольку в нашем ремесле самое ответственное и трудное — работа со свидетелями.

— Почему? — Я приподнялся на локте.

— Потому что, если преступника поймали за руку, тебе и делать там нечего. Но так редко получается. А главный человек в розыске — свидетель, потому что в самом тайном делишке всегда отыщется человек, который или что-то видел, или слышал, или знает, или помнит, или догадывается. А твоя задача — эти сведения из него вытрясти...

— А почему же ты умеешь добывать эти сведения, а Коля Тараскин не умеет?

— Темнота прошлепела смехом.

— Потому что, во-первых, он еще молодой, а во-вторых, не знает шести правил Глеба Жеглова. Тебе уж, так и быть, скажу.

— Сделай милость. — Я заранее заулыбался, полагая, что он шутит.

— Запомнишь навсегда, потому что повторять не стану. Первое правило, это как «отче наш», когда разговариваешь с людьми, чаще улыбайся. Первое же это условие, чтобы нравиться людям, а оперативник, который свидетелю влезть в душу не умеет, зря рабочую карточку получает. Запомнил?

— Запомнил. Вот только щербатый я слегка — это ничего?

— Ничего, даже лучше, от этого возникает ощущение простоватости. Теперь запомни второе правило Жеглова: умеи внимательно слушать человека и старайся подвинуть его к разговору о нем самом. А как следует разговаривать человека о нем самом, знаешь?

— Трудно сказать, — неуверенно пробормотал я. — Вот это и есть третье правило: как можно скорее найди в разговоре тему, которая ему близка и интересна.

— Ничего себе задача — найти интересную тему для незнакомого человека!

— А для этого и существует четвертое правило: с первого мига проявляй к человеку искренний интерес, понимаешь, не показывая ему интерес, а старайся изо всех сил проникнуть в него, понять его, узнать, чем живет, что из себя представляет, и тут, конечно, надо напрячься до предела. Но коли сможешь, он тебе все расскажет...

Голос Жеглова, мятый, сонный, постепенно затухал, пока не стих совсем. Он заснул, так и не успев рассказать мне остальных правил. Спал он совершенно неслышно — не сопел, не ворочался, со сна не говорил, ни единая пружинка в стареньком диване под ним не скрипела, и, погружаясь в дрему, я успел подумать, что так, наверное, спят — беззвучно и наверняка чутко — большие сильные звери...

Первые дни работы в МУРе ошеломили меня количеством событий, людей, тем потоком человеческих горестей и бед, которые суждено отныне мне разбирать, устанавливать, решать и возмещать. Мои туманные представления о работе уголовного розыска были в один день уничтожены — романтики в охране справедливости и людской безопасности было совсем мало, а был изнурительный труд, бессиле незнания, неловкость от ощущения своей бесполезности, обузности для бригады. И еще опасение, что мне никогда не обрести броневого хитрости и цепкости Жеглова, неслешной, но всегда неожиданной сметливости Пасюка, настырной энергичности Тараскина...

Но прошел еще один день, за ним следующий, потом закончилась неделя без выходного, и эти мысли как-то сами по себе ушли: для них просто не оставалось времени, целый день на работе не было ни минуты свободной, а когда за полночь мы возвращались с Жегловым домой на Сретенку, то не оставалось сил даже чаю выпить — камнем падал я в глубокой, вязкий, как нефть, безсновидный сон, чтобы вынырнуть из него полуоглушенным от глубокого забытья под душераздирающий треск старого будильника, подаренного мне Михал Михальчем.

А двадцать первого числа, собираясь утром на работу, Жеглов сказал:

— Ну, Володя, сегодня все дела надо кончить пораньше...

— Почему? — удивился я, хотя и не возражал окончить дела пораньше.

— Сегодня «день чекиста» — получка. А для тебя она в МУРе первая, вот мы и обмоем тебя по всем правилам...

Но закончить в этот день дела пораньше нам не удалось, и обмыть мою первую зарплату мы тоже не смогли, потому что, собственно говоря, и не получили ее тогда, и я даже не представлял, какое значение будет для всей моей жизни иметь этот пасмурный сентябрьский день, и уж тем паче не подозревал, какое он окажет влияние на наши взаимоотношения с Жегловым...

И произошло все потому, что убили в тот день Ларису Груздеву. Вернее, убили ее накануне, а нам только сообщили в этот день, и эксперт так и сказал:

— Смерть наступила часов восемнадцать — двадцать назад, то есть еще вчера вечером...

Когда мы вошли в комнату, то через плечо Жеглова я увидел лежащее на полу женское тело, и лежало оно неестественно прямо, вытянувшись, ногами к двери, а головы мне было не видеть, голова, как в детских прятках, была под столом, и одной рукой убитая держалась за ножку стула.

Глухо охнула у меня над ухом, зашлась криком девушка — сестра убитой. «Надя», — сказала она, протягивая Жеглову ладошку пять минут назад, когда мы подыались уже с поиятыми по лестнице, чтобы вскрыть дверь, из-за которой со вчера никто не отключался. Надя оттолкнула меня, рванулась в комнату, но Жеглов уже схватил ее за руку.

— Нечего, нечего вам там делать сейчас, — и даже не обернувшись, крикнул: — Гриша, побудь с женщиной на кухне!

А та враз обессилела, обмякла и без сопротивления дала фотографу отвести себя на кухню, ослабевшие ноги не держали ее, и она слепло, не глядя, осела на стул, и крик ее стих, и только булькающие судорожные рыдания раздавались сейчас в пустой и безмолвной квартире.

Из ее объяснений на лестнице я понял, что Надя живет с матерью, а здесь квартира ее сестры Ларисы, и они договорились созвониться; и она звонила ей вчера весь вечер — никто не снимал трубку, и сегодня никто не отвечал, и она стала сильно беспокоиться, поэтому приехала сюда и с улицы увидела, что на кухне горит свет. А с чего ему днем гореть?..

Дверь вскрыли, вошли в прихожую, тесную, невразворот, и с порога я увидел голые молочные ноги, вытянувшиеся поперек комнаты к дверям. Задрался шелковый голубой халатик, и мне было невыносимо стыдно смотреть на эти законченнейшие стройные ноги, словно убийца заставил меня неволью — или волюно — принять участие в каком-то недостойном действе, в противоестественном бессознательном разглядывании чужой, бессильной и беззащитной женской наготы посторонними мужиками, которым бы этого вовек не видеть, кабы убийца своим злодейством не совершил того ужасного, перед чем становятся бессмысленными и ненужными все существующие человеческие запреты, делающие людей в совокупности обществом, а не стадом диких животных.

Жеглов вошел в комнату, он на мгновение остановился около распростертого на полу тела, будто задумался о чем-то, затем гибко, легко опустился

ся на колени, заглянув под стул, и со стороны казалось, что он согласился поиграть в эти ужасные прятки, и скажет сейчас: вылезай, мы тебя увидели.— Но Жеглов повернулся к нам и сказал эксперту:

— Пулевое ранение в голову. Приступайте, а мы пока оглядимся... Тараскин, понятых, быстро. А потом по всем соседям подряд: кто чего знает... Мне казалось невозможным что-то делать в этой комнате, ходить здесь, осматривать обстановку, записывать и фотографировать, пока убитая лежит обнаженной, и я наклонился, чтобы одернуть на ней халат, но Жеглов, стоявший, казалось, ко мне спиной, вдруг резко бросил, ни к кому в отдельности не обращаясь, но я сразу понял, что он кричит это именно мне:

— Ничего руками не трогать! Не прикасаться ни к чему руками!

Я выпрямился, пожал плечами и, чтобы скрыть смущение, устоял на стол, накрытый к чаепитию. На чашке с чаем, чуть начатой, осталась еле видимый след губной помады, и вдруг резкой волной ощутил я неодолимый приступ тошноты. Я быстро вышел на кухню и стал пить холодную воду, подставив рот прямо под струю из крана.— вода брызгала в лицо, и тошнота ослабела, потом совсем прошла, остались лишь небольшое головокружение и невыносимое чувство неловкости и вины. Я понимал, что приступ у меня вызвал вид мертвого тела, и сам в душе подвинулся этому — за долгие свои военные годы я повидал такого, что давно должно было приглушить чувствительность, тем более что особенно чувствительным я вроде и сроду не был, да и фронтальная смерть имела какой-то совсем другой облик. Это была смерть военных людей, ставшая за месяцы и годы по своему привычной, несмотря на всегданию неожиданность. Не задумываясь над этим особенно глубоко, я ощущал печальную, трагическую закономерность войны — гибель многих людей. А здесь смерть была ужасной неправильностью, фактом, грубо вопиющим против закономерности мирной жизни, само по себе было в моих глазах парадоксом то, что, пережив такую бесконечную, такую смертоубийственную, кровопролитную войну, молодой, цветущий человек был вычеркнут из жизни самоуправным решением какого-то негодяя...

На кухне громко звучало радио — черная тарелка репродуктора тонко позванивала, резонируя с высоким голосом Нины Пантелеевой, старательно вытягивавшей верх «Тальяночки». Надя, прижимая платок к опухшему от слез лицу, протянула руку, чтобы повернуть регулятор репродуктора. Неожиданно для себя я взял девушку за руку:

— Не надо, оставьте, Наденька, пусть все будет... это... как было.

В кухню заглянул Жеглов:

— Надюша, мне надо вас расспросить кой о чем...

Девушка покорно кивнула.

— Чем занималась ваша сестра?

Надя судорожно вздохнула, она изо всех сил старалась не плакать, но из глаз ее снова полились слезы.

— Ларочка была очень талантливая... Она стать актрисой мечтала... Ей после школы поступить в театральное училище не удалось, это знаете, как трудно... Но она занималась все время, брала уроки...

— И не работала?

— Нет, работала. Она устроилась в драмтеатр костюмершей, у нее ведь вкус прекрасный... ну, и училась каждую свободную минуту... Все роли наизусть знала...

— А муж ее кто? — спросил Жеглов.

— Видите ли... Они с мужем разошлись.

— Да? — вежливо переспросил Жеглов. — Почему?

— Как вам сказать... — пожал плечами Надя. — Жениться по любви, три года жили душа в душу... а потом пошло как-то все кривь и вкось.

— Ага, — кивнул Жеглов. — Так почему все-таки?

— Понимаете, сам он микробиолог, врач... Ну... не нравилось ему Ларочку увлечение театром... то есть, по правде говоря, даже не совсем это...

— А что?

— Понимаете, театральная жизнь имеет свои законы... свою, ну, специфику, что ли... спектакли кончаются поздно, часто ужинны... цветы...

— Поклонники, — сказал Жеглов. — Так, что ли?

— Ну, наверное, — неуверенно согласилась Надя. — Нет, вы не подумайте, ничего серьезного, но Илья Сергеевич не хотел понимать даже самого невинного флирта...

— М-да, ясно... — сказал Жеглов.

— Ну вот, — продолжила девушка. — Начались ссоры... дошло до развода...

— Они развелись уже? — деловито спросил Жеглов.

— Нет, не успели. Понимаете, Ларочка не очень к этому стремилась, а Илья не настаивал, тем более...

— Что «тем более»? — резко спросил Жеглов. — Вы поймите, Наденька, я ведь не из любопытства вас расспрашиваю.

— Понимаю, — стараясь сказала Надя. — Я ничего от вас не скрываю... Видите ли, Илья Сергеевич нашел другую женщину и хотел на ней жениться. А Ларочка это было неприятно, в общем, хотя она его и любила и разошлись они...

Из комнаты выглянул Иван Пасюк, увидел Жеглова, подошел.

— Глеб Георгиевич, от такую бумаженцию в бухвете найшов, подывайтесь. — И протянул Жеглову листок из записной книжки. На листке торопливным почерком, авторучкой было написано: «Лара! Почему не отвечаешь? Пора решить, наконец, наши вопросы. Неужели так некогда, или у тебя нет бумаги? Решай, иначе я сам все устрою...» — и неразборчивая подпись.

Жеглов прочитал записку, аккуратно сложил ее и спрятал в планшет, юкнул Пасюку: «Продолжайте», — и повернулся к Наде:

— Вы кого-нибудь подозреваете?

— Нет, боже упаси! — воскликнула девушка, подняв к лицу, как бы защищаясь, руки. — Кого же я могу подозревать?

— Ну, хотя бы Груздева Илью Сергеевича, — радужливо сказал Жеглов. — Ведь, если я правильно

вас понял, Лариса не давала ему развода, а он хотел жениться на другой... А?

— Что-о вы! — выдохнула с ужасом Наденька. — Илья Сергеевич — хороший человек, он неспособен на... на такое!

— Ну-у, разве так вот, сразу, скажешь, кто на что способен? Это вы еще в людях разбираетесь слабо... — протянул Жеглов, и я увидел, как выплились выпуклые коричневые глаза его в Наденькино лицо, как полыхнул в них огонек, уже раз виданный мною в Перовской слободке, когда брал Жеглов Шкандыбина, выстрелившего в соседа из ружья через окно...

— У них, у Ларисы с Груздевым то есть, какие сложились отношения в последнее время?

— Отношения известно какие... — сказала Наденька медленно. — Известно, какие отношения, когда люди разводятся.

— А чья квартира? — сразу же спросил Жеглов.

— Квартира его была, Илья Сергеевича. А когда разошлись, Илья Сергеевич решил, что Ларе неудобно к маме возвращаться, да и тесно там — мы с ней в двенадцати метрах живем...

— И что?

— Но ему самому тоже деться некуда, он пока в Лосинке комнату с террасой у одной бабки снимает. Решил эту квартиру на две комнаты в общих разменять.

— Па-а-а-а... — протянул Жеглов, спросил Наденьку, где работает Груздев, и отправил за ним милиционера, наказав ничего Груздеву не сообщать, объяснить только, что какая-то в его доме произошла неприятность. Потом достал из планшета записку, которую нашел Пасюк, показал ее Наденьке:

— Вам эта рука не знакома?

Наденька прочитала записку, помедлила немного, сказала:

— Это Илья Сергеевич писал...

— Не глядя на записку, Жеглов сказал:

— «...Решай, иначе я сам все устрою...» Это он насчет чего, как думаете?

— Я думаю, насчет обмена. Илья Сергеевич нашел вариант, но Ларочке он не очень нравился, и она... ну, никак не могла решиться.

— А... м-м-м... скажите... — начал Жеглов медленно, и по лицу его, по сужившимся вдруг глазам я понял, что он напал на какую-то новую мысль.

— Скажите, это был первый вариант обмена или...

Честно говоря, нет, не первый, — сказала Наденька просто. — Илья Сергеевич уже несколько комнат хороших находил, сами понимаете, на отдельную квартиру желающих много...

— Понятно... — протянул Жеглов. — Вы пока, я вас попрошу, походите по квартире, осмотритесь, все ли вещи на месте, не пропало ли чего, — это очень важно...

Хлопнула входная дверь, и в квартире сразу стало многолюдно — приехал следователь прокуратуры Панков, а за его спиной мальчик Тараскин, который привел понятых — дворничиху и пожилого бухгалтеря из домоуправления.

— Здравствуй, Жеглов, — сказал Панков, и в его приветствии невольно смешались одобрение и усмешка — видимо, они давно и хорошо знали друг друга. Потом он оглядел нас и сказал бодро: — Здорово, сыскари, добры молодцы!

Следователь прокуратуры Панков был стар, тщедушен, и выражение лица у него было сонное.

Жеглов повернулся ко мне:

— Ты, Шараров, будешь писать протокол...

— Я?

— Конечно, Бери блокнот на изготовку, пиши быстро, но обязательно разборчиво. Привыкай...

«...Осмотр производится в дневное время, — записывал я под диктовку Жеглова, — в пасмурную погоду, освещенные естественные... комната размером 5 × 3,5 метра, прямоугольная, окно одно, трехстворчатое, обращено на северо-запад... входная дверь и окна в комнате и на кухне к началу осмотра были заперты и видимых повреждений не имеют...»

Немного погодя вышли на кухню перекурить, и я спросил Жеглова, какой толк от старичка Панкова, который, отдав несколько распоряжений, на мой взгляд, довольно пустяковых, уютно устроился в кресле и, казалось, отключился от всего происходящего в квартире.

— Э, нет, друг ситный, — сказал Жеглов, — этот старичок барозды не испортит, старый розыскной волк. Он такие убийства разматывал, что тебе и не снилось. Одно в Шестом проезде родинском мы вместе раскрывали, обоим нас потом поощрили: по путевке дали в дом отдыха... Да и закон требует, чтобы дело по убийству вела прокуратура. Но это, так сказать, оформление, а розыск, вся оперативная работа все равно за нами остаются.

Будто учуяв, что о нем речь, в кухню вошел Панков, положил перед Жегловым на куске газеты продолговатый кусочек металла.

— Ну-с, Глеб Георгиевич, имеется пуля. Какие будут суждения? — и вдруг засмеялся старческим, перхажующим смехом.

Жеглов достал из кармана лупу, взял у Панкова пинцет и, поворачивая в разные стороны, принялся рассматривать венчик. Крутил он ее, вертел, присматривался, чуть ли не нюхал, я все ждал, что он ее на зуб попробует. Чего там рассматривать — пуля как пуля, обычная пистолетная пуля...

— Надо гильзу поискать, оно надежней будет... — сказал Жеглов.

Панков, ухмыляясь, заметил:

— Еще лучше было бы посмотреть само оружие...

Жеглов, поскрипывая щегольскими своими сапожками, прошелся по кухне, крепко потер обеими ладонями лоб и сообщил:

— Значитца, так, Сергей Ипатьч: пуля эта — 6,35, от «Омеги» или «Байярда».

Я от удивления раскрыл рот — каких уж только я пуль не навиделся и, конечно, могу отличить винтовочную от револьверной или автоматную от малокалиберной. Но назвать систему оружия — это действительно номер! Как бы сочувствуя мне, Панков скромно спросил Жеглова:

— Из чего слеует, сударь мой?

— Из пули, Сергей Ипатьч, — хладнокровно сказал Жеглов. — Шесть нарезов с левым направлением, почерк вполне заметный!

— Тогда как вы объясните это? — Панков достал из кармана аккуратный газетный пакетик, развернул его, вынул из ваты гильзу, небольшую, медножелтую, с отчетливой вмятиной от бойка на до-

нышке. — Гильза, судя по маркировке, наша, отечественная...

— А где была? — торопливо спросил Жеглов.

— Там, где ей положено, слева от тела, надо полагать, нормально выброшена отражателем.

— Хм, гильза наверняка отечественная. Ну что ж, запишем это в записку... — Жеглов задумался. — Все равно надо оружие искать...

Подошла Надя, робко тронула его за руку:

— Извините... Вы просили вещи Ларисы посмотреть... Ну?

— Мне кажется... Я что-то не нахожу... У нее был новый чемодан, большой, желтый, и его нигде не видно.

— Ага, понял, — кивнул Жеглов. — А вещи?

— В шкафу была ее шубка, под котик... Платье красное из панбархата... Костюм из жатки, темносиний, несколько кофточек... Я ничего этого не вижу...

— А в остальных местах смотрели, может, еще где лежат?

Наденька залилась слезами:

— Нет нигде, я смотрела... И драгоценности ее пропали из шкатулки. Вот, посмотрите...

Она подвела Жеглова к буфету, открыла верхнюю створку, достала оттуда большую шкатулку сандалового дерева, инкрустированную буюком, откинула крышку — на ней лежали дешевые на вид украшения, пуговицы, какие-то квантаци, бижутерия обезьянка.

— Какие именно здесь были драгоценности?

— Часики золотые... серьги с бирюзой... ящерица...

— Какая ящерица? — переспросил Жеглов.

— Браслет такой витой, в виде ящерицы, с изумрудными глазами... Один глаз потерялся... — пыталась сосредоточиться девушка. — Кольца она на руках носила...

Жеглов повернулся в сторону убитой, сорвался с места, быстро нагнулся над телом — колец на пальцах не было. Надя с ужасом прсмотрела на нее, закрыла лицо руками и снова зашла в глухих рыданиях, сквозь которые прорывались слова:

— Ее ограбили! Ограбили... Убили, чтобы ограбить... Бедная моя!

Пасюк, стоя на стуле перед книжным шкафом, сказал:

— Глеб Георгиевич, патроны... — И протянул небольшую синюю коробку Жеглову.

Рассмотрев коробку, Жеглов довольно улыбнулся и показал ее Панкову — на коробке большими желто-красными буквами было написано «БАЙЯРД». Панков открыл коробку — из решетчатой, похойей на пчелиные соты упаковки, как шипы, торчали остроносые сизые пули. Однако торжество Жеглова длилось недолго, и нарушил его как раз я.

— Пули-то от «Байярда», это точно, — заметил я. — Но коробка полная. Все патроны на месте — ни одного свободного гнезда...

— Ничего, — твердо сказал Жеглов. — Здесь уже, как говорится, «тепло», поищем — найдем. Ты, Шараров, запомни себе твердо: кто ищет — находит, в уныние не имей привычки вдаваться, понял?

В комнату быстро вошел милиционер.

— Товарищ капитан, гражданин Груздев привезли. Можно войти? — обратился он к Жеглову.

Да, собственно, Груздев и так уже вошел. Он стоял в дверях, уцепившись за косяк, и я почему-то в первый момент смотрел не на его лицо, а именно на эту судорожно сжатую, белую, словно налившуюся гипсом руку. В этой руке жил такой ужасный испуг, в недвижности ее было такое волнение, что я никак не мог оторваться от нее и взглянуть Груздеву в глаза и очнулся, только услышав его голос:

— Что это такое?..

Все молчали, потому что вопрос его не требовал ответа, и с криком бросился к нему на грудь Надя, увидев в нем единственного здесь близкого человека, с которым можно разделить и немного утешить боль потери.

Груздев отцепил руку от двери, он словно отлепал каждый палец от отдельности, и все движения его походили на замедленное кино, а рука соприкоснулась в воздухе плавный круг, слепо нащупала голову Нади и бесчувственно, вяло стала гладить ее, а сухие, обветренные губы шептали еле слышно:

— Вот... Наденька, какое... несчастье... случилось...

Не отрываясь, смотрел он на Ларису, и нам, конечно, было неизвестно, о чем он думает: о том, как они встретились, или как последний раз расстались, или как она впервые вошла в этот дом, или как случилось, что она лежит здесь, наполовину голая, на полу, с простреленной головой, и дом полон чужих людей, которые хозяином распоряжаются, а он приходит сюда опоздавшим зрителем, когда занавес уже поднят и страшно запутанная пьеса идет полным ходом. На его костюме, некрашеном лице было разлитое огромное, испуганное удивление, но с каждой минутой недоумение исчезало, пока не заперся на лице неровными красными пятнами страх, только страх...

С того момента, как Груздев вошел, Жеглов не сводил с него пристального взгляда своих выпуклых, цепких глаз, и Груздев, видимо, в конце концов почувствовал этот взгляд, беспойно повертел головой, посмотрел на Жеглова и спросил:

— Что вы на меня так смотрите?

Жеглов пожал плечами:

— Странный вопрос... Обыкновенно смотрю.

— Не-ет, вы на меня так смотрите, будто подозреваете...

— Знаете что, гражданин, давайте не будем отвлекаться, — сказал Жеглов, и по тону его, по оттопырившейся нижней губе я понял, что он рассердился. — Скажите мне лучше: когда вы с потерпевшей последний раз виделись?

— Дней десять назад.

— Где?

— Здесь.

— С какой целью?

— Мы размениваем квартиру — я привез Ларисе планы нескольких вариантов...

Груздев говорил медленно, еле разлепля сухие губы, и я не мог понять: он что, раздумывает так долго над ответами или все еще опомниться не может?

К разговору подключился Панков:

— Вы кого-нибудь подозреваете?

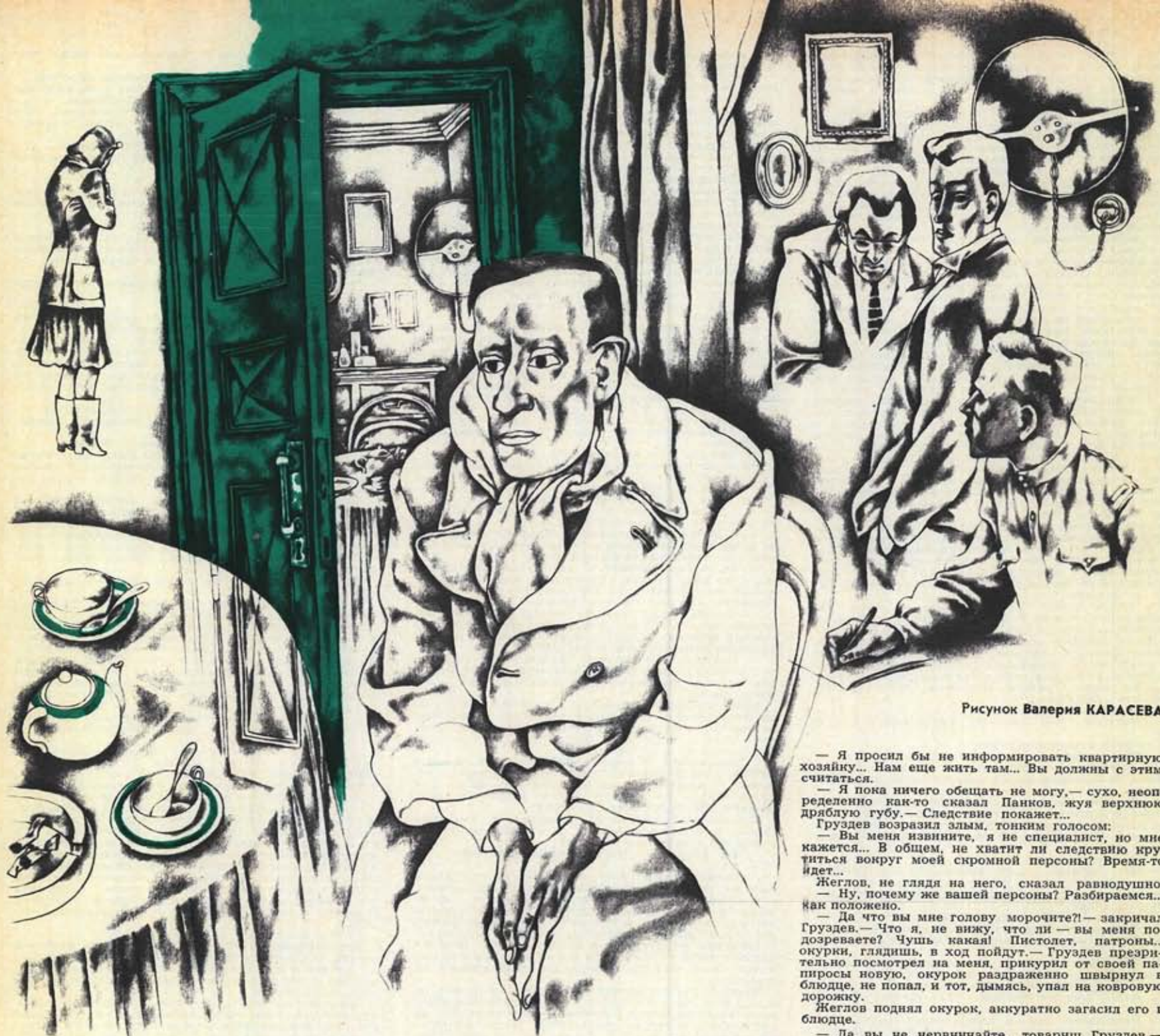


Рисунок Валерия КАРАСЕВА

Груздев вскинул на него недобрый взгляд: — Чтобы подозревать, надо иметь основания. У меня таких оснований нет. — Он сказал это раздельно, веско, и в голосе его скрипнула жесть неприязни.

— Это конечно, — простецки улыбнулся Панков. — Но, возможно, есть человек, к которому стоит повнимательней присмотреться, вы как думаете?

— Таких людей вокруг Ларисы последнее время виделось предостаточно, — сказал Груздев зло, помолчал, тяжело вздохнул: — Я ее предупреждал, что вся эта жизнь вокруг Мельпомены добром не кончится...

— Вы имеете в виду ее театральное окружение... — уточнил Жеглов и как бы мимоходом спросил: — Вы сейчас как с жилплощадью, нормально? — Неформально, — отрезал Груздев, и с вызовом добавил: — Но к делу это отношения не имеет... Он вытащил из кармана пальто носовой платок и вытер вспотевший лоб.

— Как знать, как знать... — неожиданно тонко сказал Жеглов. — У вас оружие имеется?

— Я мог бы поклясться, что при этом неожиданном вопросе Груздев вздрогнул. Вздвинулся-то он наверняка, потому что снова полез за носовым платком, и впервые увидел, чтобы до синевы бледный человек мог одновременно покрываться испариной.

— Нет... — сказал Груздев медленно и протяжно. — Не может быть... я как-то не подумал...

— О чем не подумали? — спросил Жеглов спокойно.

— Я совсем забыл о нем... — Ну-ну... — подогнал Груздев Панков.

— Неужели это из него... У меня был наградной пистолет... — Груздев говорил невнятно и с трудом, будто у него сразу и губы и язык онемели. — Я совсем забыл о нем...

Он встал и направился к буфету, но на середине комнаты остановился и повернулся к Панкову: — Вы нашли?.. Это из него?..

— Покажите, куда вы его положили, — сказал Панков.

Груздев подошел к буфету, открыл верхнюю створку, достал оттуда шкатулку, из которой, по словам Нади, пропали драгоценности. Трясущимися руками откинул крышку, тупо усталыми внутри шкатулки. Панков встал, направился к Груздеву, подошли оперативники.

— Его здесь нет... Я хранил его в шкатулке. — А взяли когда? — быстро осведомился Жеглов. Груздев, словно не желая разговаривать с Жегловым, ответил Панкову:

— Я не брал... Поверьте, я не знаю, где он! Панков развел руками, будто хотел сказать: «Не знаете, так не знаете, поверим...», — а Жеглов развернул газетный сверток и показал коробку с патронами Груздеву:

— Вам этот предмет знаком?

— Да-а... — глядя куда-то вбок, сказал Груздев. — Знаком... знаком... Это мои патроны...

Трясущимися пальцами он положил в блюдце стоявшее на буфете, окурки, достал из пачки-десяточки «Дели» папиросу, дунул в мундштук, принял пальцами конец его, закурил. Я видел, как он переживает, мне было тяжело смотреть на него, я отвел глаза и уперся взглядом в хрустальную пепельницу на столе. Там по-прежнему лежали окурки, и я вспомнил, что под диктовку Жеглова записал в свой блокнот: «Три окурка папирос «Дели».

— Вы, гражданин Груздев, сейчас с другой женщиной живете? — спросил Жеглов.

Косо глянув на него, Груздев сухо, неприязненно кивнул, словно говоря: «Ну, и живу, ну, и что, вам какое дело?»

— Адресочек позвольте, — попросил Жеглов.

— Пожалуйста, — скривил губы Груздев. — Но, надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать? Она никакого отношения не имеет...

— Мы разберемся, — неопределенно пообещал Жеглов. — Запиши, Володя.

Груздев продиктовал адрес и, пока я записывал его в свой блокнот, сказал Панкову:

— Я просил бы не информировать квартирную хозяйку... Нам еще жить там... Вы должны с этим считаться.

— Я пока ничего обещать не могу, — сухо, неопределенно как-то сказал Панков, жуя верхнюю дряблую губу. — Следствие покажет...

Груздев возразил злым, тонким голосом:

— Вы меня извините, я не специалист, но мне кажется... В общем, не хватит ли следствию крутиться вокруг моей скромной персоны? Время-то идет...

Жеглов, не глядя на него, сказал равнодушно: — Ну, почему же вашей персоны? Разбираемся... как положено.

— Да что вы мне голову морочите?! — закричал Груздев. — Что я, не вижу, что ли — вы меня подозреваете? Чутье какое! Пистолет, патроны... окурки, глядишь, в ход пойдут. — Груздев презрительно посмотрел на меня, прикурил от своей папиросы новую, окурки раздраженно швырнул в блюдце, не попал, и тот, дымясь, упал на ковровую дорожку.

Жеглов поднял окурки, аккуратно загасил его в блюдце.

— Да вы не нервничайте, товарищ Груздев, — сказал он мягко, почти задушевно. — Мы вас понимаем, сочувствуем, можно сказать... горю. Но и вы нас поймите — мы ведь не от себя работаем. Разберемся. Пойдем, Шарапов, я тебе указания дам, — повернулся, пошел к дверям быстрой своей, дружищей походкой и уже на выходе попросил Груздева: — Не сердчайте, Илья Сергеевич, лучше помогите товарищам с вещами разобраться — все ли на месте?

Тараскин, которому Жеглов велел обойти соседей, расспросить их — не слышали ли чего, не видели ли кого, какой разговор промем людей насчет происшествия идет, — приволок очень интересный свидетель.

Сосед Груздевых по лестничной клетке, похожий на суслика — маленький, сутуловатый, с узкими плечиками, — рассказывал, поблескивая быстрыми черными глазками из-под косматых бровей:

— Меня, этта, жена послала ведро вынести на помойку, н-ну... Выхожу я на парадную, аккурат Илья Сергеевич по лестнице идет... Встретились мы, конечно, я с ими этта... поздоровался, здоровуйтесь, говорю, Илья Сергеевич, н-ну и он мне: здоровуй, мол, Федор Петрович... Было, граждане начальники, было...

— А потом что? — спросил Жеглов ласково.

— Этта... Известно, чего... Я с ведром — на черный ход. А Илья, значит, Сергеевич — в парадную, на улицу.

Жеглов сощурился, оглянулся на комнату, в которой оставил Груздева, и широко расставил руки, будто собираясь всех обнять:

— Ну-ка, орлы, здесь и так повернуться негде. Давай обратно... — И соседа вежливо очень спросил: — Мы не помешаем, если к вам в квартиру вернемся? Если это удобно, конечно...

— Да господа, какой разговор, заходите, товарищи начальники, жилплощадь свободная!

Мы прошли в комнату соседа, расселись за небольшим коленчогим столом, покрытым старой клеенкой.

— Ну, вот здесь спокойней будет, — сказал Жеглов. — Когда, вы говорите, дело-то было?

— А вчерась к вечеру... Я аккурат после ночной проснулся, картошку поставил варить, а сам с ведром, как говорится...

— Мы из отдела борьбы с бандитизмом. Моя фамилия Жеглов, не слышали?— Хозяин почтительно привстал, а Жеглов протянул ему руку через стол:— Будем знакомы.

Хозяин обеими руками схватился за широкую ладонь Жеглова, потряс ее, торопливо сообщил:— Липатниковы мы, Липатников, значит, Федор Петрович, очень приятно...

— У меня такой вопрос: вы не путаете, в чем дело было? Или, может, и а д и я х?

— Да что вы, товарищ Жеглов,— обиделся сосед.— Мы люди твердые, не шалопуты какие, чтобы, как говорится, нынче да анась перепутывать! Вчерась, как бог свят, вчерась!

— Так, хорошо,— утвердил Жеглов.— Пошли дальше. Припомните, Федор Петрович, как можно точнее: в каком времени сколько было?

Сосед ответил быстро и не задумываясь:— А вот это, товарищ Жеглов, не скажу — не знаю я, сколько было время. К вечеру — это точно, а время мне ни к чему. У нас в доме и часов-то нет, вон ходики сломались, а починить все не соберемся...

Старые ходики на стене действительно показывали два часа, маятника у них не было.

— А как же вы на работу ходите?— удивился Жеглов.

— Я не проспю,— заверил сосед.— Я сроду с петухами встаю. И радио вон орет — как тут проспю?

Жеглов глянул на черную, порванную с одного края тарелку допотопного репродуктора, из которого Рейзен гудел в это время своим толстым голосом арию Кончака, подумал, снова посмотрел на репродуктор, уже внимательней, сказал недоверчиво:

— Что ж он у вас, круглосуточно действует?— Ага, он мне не препятствует, я после ночной и сплю при ем,— заулыбался Федор Петрович, показывая длинные передние зубы.

Глаза у Жеглова остро блеснули, он спросил быстро:

— Может, припомните, чего он играл, когда вы с ведром-то выходили, а, Федор Петрович?

Сосед с удивлением посмотрел на Жеглова — странно, мол, в какую сторону разговор заехал, но все же задумался, вспоминая, и немного погодя сообщил:

— Матч был футбольный.— И добавил для полной ясности заученное:— Трансляция со стадиона «Динамо».

До меня дошло наконец, куда гнет Жеглов, я на него просто с восхищением посмотрел, а Жеглов весело сказал:

— Так мы с вами, выходит, болельщики, Федор Петрович? Какой тайм передавали?

Федор Петрович тяжело вздохнул, покачал головой:

— Не-е... Я не занимаюсь, как говорится... Так просто, слушал от нечего делать, вы уж извините. Не скажу, какой... э-э... передавали.

— Ну, может быть, вы хоть момент этот запомнили, про что говорилось, когда с ведром-то выходили?— спросил с надеждой Жеглов.

Да он уже кончался, матч, значит. Да-а, кончался, я пошел картошку ставить, а потом уж — с ведром...

— Кто да кто вчера играл, ну-ка, Коля?— «ЦДКА» — «Динамо», — уверенно сказал Тараскин.

— Правильно,— одобрил Жеглов.— Счет 3:1 в пользу наших. Значитца, так: начало в семнадцать, плюс сорок пять, плюс минут пятнадцать перерыв — восемнадцать часов. Плюс сорок пять, плюс десять минут... Та-а-а... Восемнадцать пятьдесят, максимум девятнадцать... Потом чаепитие и другие рассказы... Все сходится! Ты улавливаешь, Шараров?

Я-то улавливал: около семи вечера Наденька звонила Ларисе, и та попросила ее перезвонить через полчаса, пока она занята важным разговором. Теперь ясно, с кем этот разговор происходил... Да-а, дела...

Душевно, за ручку, распрощались мы с Федором Петровичем и вернулись в квартиру Груздевых, где процедура уже заканчивалась. Судмедэксперт диктовал Панкову результаты осмотра трупа, следователь прилежно записывал в протокол данные, переспрашивая иногда отдельные медицинские термины. Пасюк, любитель чистоты и порядка, расставлял по местам вещи, задирая ящики, закрывал распахнутые двери. Приехала карета из морга, санитары прошли в комнату, и чтобы не видеть, как поднимают и выносят тело Ларисы, я пошел на кухню, где за столиком, под надзором Гршии Шести-на-девять, склонив голову на руки и уставившись глазами в одну точку, сидел Груздев.

Через несколько минут на кухню пришел Панков, которому разговор с соседом был, по-видимому, уже известен, и сразу спросил Груздева:— Илья Сергеевич, где вы были вчера вечером, часов в семь?

Груздев поднял голову, мутными узкими глазами неприязненно оглядел нас всех, судорожно слотнул:

— Вчера вечером в семь я был дома. Я имею в виду в Лосинке... помолчал и добавил:— Вы напрасно терпете время, это не я убил Ларису.

— Следствие располагает данными,— сказал железным голосом Глеб,— что вчера в семь часов вы были здесь!

— Следствие!— повторил с ненавистью Груздев.— Вам бы только засадить человека, а кого — неважно.

— Слушайте, Груздев,— перебил Панков.— Соседи видели вас, зачем отрицаться?

— Они меня видели не в семь, а в четыре!— запальчиво крикнул Груздев.

— Но в начале разговора вы сказали, что уже десять дней здесь не были,— готовно напомнил Жеглов, и я видел, что он недоволен Панковым.

— Я этого не говорил,— сказал Груздев, и я перехватил ненавидящий блеск в его глазах, когда он смотрел на Жеглова.— Я сказал, что Ларису не видел дней десять...

— А вчера?— лениво поинтересовался Жеглов.

— И вчера я ее не видел,— нехотя ответил Груздев.— Я ее дома не застал.

Панков пошел в комнату, дал понятным расписаться в протоколе, отпустил их и вернулся с Пасюком на кухню.

— Вас я тоже попрошу расписаться.— Он протянул Груздеву протокол, но тот отшатнулся, выставив вперед ладони, резко закачал головой.

— Я ваши акты подписывать не намерен,— угрожаю заявил он.

— Это как же понимать?— спросил Панков строго.— Вы ведь присутствовали при осмотре!

— Как хотите, так и понимайте,— ответил Груздев резко, подумав немного, и добавил:— Кстати, когда я приехал, вы уже все тут разворотили...

Панков поджал и без того тонкие губы, укоризненно покачал головой:

— Напрасно, напрасно вы себя так ставите... Груздев досадливо махнул в его сторону и отвернулся к окну. Паузу разрядил Жеглов, он спросил непринужденно:

— Илья Сергеевич, а в Лосинке могут подтвердить, что вы вчера вечером дома?

— Конечно...— презрительно бросил Груздев.

— Позвольте спросить, кто?

— Ну, если на то пошло — и жена моя и квартирохозяйка.

Чудненко...— Жеглов поставил сапог на табуретку, подтянул голенище, полюбовался немного его неувядающим блеском, проделал ту же операцию со вторым сапогом.— Пасюк, сургуч, печатка имеются?

— А як же ж!— отозвался Иван.

— Добре.— И, повернувшись к Груздеву, сказал как нельзя более любезно:— Ваши ключики, Илья Сергеевич, от этой квартиры попрошу...

Но Груздев молчал, и Жеглов, открыв планшет, вынул какой-то бланк, протянул его Панкову. Тот стал писать на нем, и, пригладившись, я увидел, что это ордер на обыск. А Жеглов без малейшей нетерпеливости снова сказал Груздеву:

— Ключики нам нужны, Илья Сергеевич.— И пояснил:— Квартиру придется временно опечатать. Груздев резко повернулся:

— Ключей у меня нет. И быть не могло. Постарайтесь понять, что интеллигентный человек не станет держать у себя ключи от квартиры чужой ему женщины! Чужой — понимаете?!

— Напрасно вы все-таки так...— неприязненно сказал Панков и отдал ордер Жеглову.— Ну, да ладно, давайте заканчивать.

— Все на выход!— коротко приказал Жеглов.— Вам, гражданин Груздев, придется с нами проехать на Петровку, 38. Уточнить еще кое-что...

На лестнице Жеглов поотстал с Пасюком и Тараскиным, дал им ордер, сказал негромко:

— Езжайте в Лосинку. В этом адресе произведете неотложный обыск — ищите все, что может иметь отношение к делу, ясно? Особенно переписку — всю как есть изымайте. Потом сожительницу его и хозяйку квартиры поврозь допросите: где был он вчера, что делал, весь день до минуточки, ясно? И назад рысью!..

Панков отравился домой, попросил завтра с утра показать ему собранные материалы. Быстро прогромыхав по ночным улицам, приехали мы на Петровку. Всю дорогу молчали, молча подылились и в дежурную часть. Жеглов усадил Груздева за стол, дал ему бумагу, ручку, сказал:

— Попрошу как можно подробнее изложить историю вашей жизни с Ларисой, все ваши соображения о происшествии, перечислить ее знакомых, кого только знаете. Отдельно опишите, пожалуйста, весь ваш вчерашний день, по часам и минутам буквально.

— На что имя мне писать? И как этот документ озаглавить?

— Озаглавьте: «Объяснение». И пишите на имя начальника Московской милиции генерал-лейтенанта Маханькова. Мы потом эти данные в протокол допроса перенесем... Пошли, Шараров,— позвал Жеглов, и мы вышли в коридор.

— А зачем на имя генерала ты ему писать велел?— полюбопытствовал я.

— Для внушительности — это в нем ответственности прибавит. Если врать надумает, то не кому-нибудь, а самому генералу. Аось поостережется. Идем ко мне, перекусим.

Зашли мы в наш кабинет, поставили на плитку чайник, закурили. Я посмотрел на часы — пять минут первого. Жеглов взял с подоконника роскошную жестянку с надписью нерусскими буквами «ПРИНЦ АЛЬБЕРТ» — в ней, поскольку запах табака уже давно выветрился, он держал сахарный песок, — достал из сейфа буханку хлеба, которую я успел «отovarить» незапамятно давно — сегодня, а вернее, вчера, перед обедом, собираясь отметить «день ченеста». Своим «разведческим», острым, как бритва, ножом с цветной наборной флексиглазовой ручкой я нарезал тонкими ломтиками аппетитный ржаной хлеб, щедро посыпав сахарным песком, а Жеглов тем временем заварил чай. Ужин получились прямо царский. Я свой ломоть нарезал маленькими ромбами — так удобнее было держать их в сложной лодочной ладони, чтобы песок не просыпался. Прихлебывал вкусный, горячий чай, я спросил:

— Что насчет Груздева думаешь, а, Глеб?

— Это его работа, нет вопроса...— и, прожевав, добавил:— Этот субчик нетрудный, у меня не такие плясали...

В коридоре раздался гулкий топот, я открыл дверь, выглянул — быстрым шагом, почти бегом приближались Пасюк и Тараскин. Пасюк первым вошел в кабинет, пытаясь, подошел прямо к столу Жеглова, вытащил из необычного кармана своего брезентового плаща свернутые трубой бумаги, аккуратно отодвинул в сторону хлеб, положил трубку на стол и сказал:

— Ось, протокол обыска... та допросы жиниок.

— Нашли чего?— спросил с интересом Жеглов.

— Та ничего особенного...— ухмыльнулся Иван.

— А что женщины говорят?

— Жинка його казала, шо був он у хати аж с восемнадцати...

— А квартирная хозяйка?

— Хозяйка показала, что с утра его не видела и вечером на веранде ихней было тихо. Так что она и голоса его не слышала. Как с утра он на станцию ушел, мол, так она его больше не видела.

— Ясененько,— сказал Жеглов.— Значитца, не было его там.

— А жена?— спросил я.

— Навинный ты человек, Шараров,— засмеялся

Жеглов.— Когда же это жена мужу алиби не давала? Соображать надо...

Да, это, конечно, верно. Я взял со стола протокол допросов — почтительно, а Жеглов походил немного по кабинету, поосображал, потом вспомнил:

— Да, так что вы там «ничего особенного»-то нашли?

Пасюк снова полез в карман плаща, извлек оттуда небольшой газетный сверток, неторопливо положил его на стол рядом с протоколами. Жеглов развернул газету.

В его руках холодно и тускло блеснул черной вороненой сталью «Байард»...

В комнате было невероятно накурено, дым болотным туманом стелился по углам — глаза слезились, и я, несмотря на холод — топить еще не начинали,— открыл окно.

Тараскин привел Груздева. Весь он как-то сник, сжегился, зябко поводит плечами, спрятан подборок в поднятый воротник пальто. И лицо его за эти часы совсем усохло, приобрело землистый оттенок, будто он уже месяц сидел в тюремной камере, а не приехал час назад с воли. Набрякли, покраснели веки, притух злой блеск глаз, и только плотно сжатые узкие губы его выдавали твердую решимость и уверенность в себе.

— Немного же вы написали за столько времени,— посетовал Жеглов, принимая от него два редко исписанных корявым, каким-то неуверенным почерком листочки. Груздев сжал губы еще теснее, ничего не ответил, но Жеглов, не обращая на это ни малейшего внимания, уселся в кресло и стал читать, подчеркивая что-то в объяснении карандашом. Прочитал, встал, прошелся по кабинету, подошел вплотную к Груздеву, который сидел — это как-то не нарочно даже получилось — на одиночном стуле посреди кабинета, так что даже облокотиться было не на что, и сказал веско:

— Значитца, так, гражданин Груздев, будем с вами говорить на открытость: правды писать вы не захотели.— И он небрежно помахал в воздухе листочками объяснения.— А напрасно. Дело-то совсем по-другому было, и враньем мы с вами только усугубляем, понятно?

— Да вы как смеете!— вскопчил со стула Груздев.— Как вы смеете со мной так разговаривать? Я вам не жулик какой-нибудь, с которыми, я слышав, в вашем учреждении обращаются вполне бесцеремонно. Я врач! Я кандидат медицинских наук, если на то пошло! Я буду жаловаться!— Вледное лицо его снова запеклось неровными кирпичными пятнами страха и волнения, он стоял вплотную к Жеглову и, казалось, готов был вцепиться в него.

Жеглов сделал, даже не сделал, а скорее обозначил неуловимое движение корпусом вперед, на Груздева, и тот невольно отступил, но позади был ступ, и он неловко, мешком, шлепнулся на него. Как бы фиксируя это положение, Жеглов небрежно поставил ногу на перекладину стула, сказал жестко, и в голосе его послышалась угроза:

— Насчет жалоб я уже слышал, доводилось. А вот насчет жуликов — это верно. Ты не жулик. Ты убийца...

У меня перехватило дыхание, настолько неожиданным был этот переход, я понял, что начинается самое ответственное: сейчас Жеглов будет раскалываться в Груздева!

А пока была тишина, плотная, вязкая, напряженная, и нарушало ее лишь хриплое дыхание Груздева да мерное поскрипывание стула под ногой Жеглова. Щегольским сапогом своим он прихватил полу пальто Груздева, и когда тот попробовал повернуться, пальто, натянувшись, не пустило его.— Жеглов словно припилил Груздева к стулу...

— Ты долго готовился...— прервал наконец молчание Жеглов, и голос у него был какой-то необычный, скрипящий, и слышалось в нем одно только чувство — безмерное презрение.— Хи-итрый... Только на хитрую ж... знаешь, есть ключ с винтом!

— Да вы... Да что вы такое несете!— Груздев давился словами от возмущения, наконец, они вырвались наружу в яростном крике:— Вы с ума сошли!

— Ну-ну, утихомирься...— жестко ухмыльнулся Жеглов.— Будь мужичкой: попался — имей сместье сознаться. Оно к тому же и полезно — в законе прямо сказано: чистосердечное признание смягчает вину...

— Слушайте, это какое-то ужасное недоразумение... Я не верю... Вы со мной разговариваете, будто я в самом деле убийца...— Голос Груздева звучал хрипло, прерывисто, губы прыгали.— Но ведь если вы мне не верите, то это как-то доказать надо!

— А что тут еще доказывать?— легко сказал Жеглов.— Главное мы уже доказали, а мелочи уж как-нибудь потом, в ходе следствия подтвердятся. При раскрытии преступления главное — определить, кому оно выгодно. Это любой студент знает. Ну-ка, глянем: выгодно вам это преступление?..

Груздев рванулся с места, на сей раз ему удалось высвободить пальто, и он поднялся:

— Но это же абсурд! Таким путем можно черт знает что обосновать! С вашей точки зрения получается, что детям выгодно смерть родителей, жене — мужа и так далее, только потому, что все они наследники...

— Но у вас немного другой случай,— перебил Жеглов.— Наследником вы являетесь, а мужем — давно уже нет...— И приказал:— Садитесь! И внимательно слушайте, что я вам скажу. Для вашей же пользы...

Он снял ногу с перекладины стула, прошелся по кабинету, снова остановился перед Груздевым и стал говорить, жестко отрубая взмахом ладони каждую свою фразу:

— Жить с прежней женой — Ларисой — вы больше не желаете... Вы находите другую женщину — Галину Желтовскую, вашу ассистентку... При этом поговсю, где только можно, вы создаете видимость доброго отношения к бывшей жене, даете ей деньги, продукты, вносите квартплату... Но Ларисе куда деваться — и вы объявляете о решении разменять отдельную квартиру на две комнаты в коммунальных... На самом деле вам вовсе не улыбается перспектива толкаться с соседями на общей кухне... Да и квартира, в сущности, ваша — еще родительская... А Лариса даже обмениваться не торопится... Расходы растут: жизнь на две семьи до-орого стоит... И вы принимаете решение...

(Продолжение следует)



АВГУСТОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1. ТАЛАНТ

2. ИТАЛИЯ:
НЕДОСТАЕТ 90 000
ШКОЛЬНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

3. ПОДВОДНЫЙ ДОМ
С «ИСКУССТВЕННЫМИ
ЖАБРАМИ»

4. ОТСТРАНЕНИЕ
ОТ ДОЛЖНОСТИ

5. КУХНЯ СИМЕНОНА

6. СТАРШЕ
НА МИЛЛИОН ЛЕТ

7. БЕШЕНЫЕ ЛИСИЦЫ

8. МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

9. ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙ

10. САМОЛЕТ-
ДИРИЖАБЛЬ

11. АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

12. ЖЕНЩИНА
В МАРАФОНЕ

13. УНИЧТОЖЕНИЕ
ИНДЕЙЦЕВ
В ПАРАГВАЕ

Обзор зарубежной прессы.
Материалы печатаются в изложении.

1.

Талант человека имеет громадную ценность, и использовать его нужно наилучшим образом. Таков один из основных доводов, которыми руководствовались в Польше организаторы централизованного учета особо одаренных студентов. Называется организация «Талант». Главной ее целью является забота об этих студентах не только во время учебы, но и сразу после окончания вуза.

«Талант» будет сосредоточивать данные о способностях студента, его наклонностях и творческих возможностях, об исследовательской работе и т. п. Талантливые студенты будут иметь определенные привилегии. Например, они получают право выбирать место работы. Тем самым студенты заранее завязывают контакты с различными научно-исследовательскими институтами.

К польскому нововведению, которое проходит сейчас проверку на практике, уже проявляют интерес многие страны.

«МЛАДИ СВЕТ»,
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

2.

«Наши дети не должны быть жертвами бюрократизма», «Требуем осуществления обещанной реформы образования» — под такими лозунгами прошли в Италии многочисленные демонстрации. Требования итальянских родителей большей частью конкретны. Так, например, выступившие совместно в одном из миланских пригородов родители и учителя потребовали немедленного строительства новой школы, согласие на которое городской совет дал еще 15 лет назад. Однако для фактического начала строительства необходимо получить соответствующее утверждение 61 учреждения итальянской бюрократической машины. Тем временем дети вынуждены заниматься в три смены, а численность учащихся в классах доходит до 50 и более человек.

В текущем учебном году в стране недостает более 90 000 школьных помещений. Не удовлетворяют современным требованиям учебные программы, школы плохо оснащены учебными пособиями. Тяжелым является положение учителей. Это не удивительно, если учесть, что школьная жизнь регламентируется законами 1923 года. 69 процентов итальянских учителей работают, не будучи официально зарегистрированными, что лишает их гарантированной оплаты, пенсии и других социальных прав.

«НБИ», ГДР

3.

Японские специалисты разработали проект подводного поселка, жители которого будут дышать с помощью «искусственных жабр». Основой «жабр» являются тонкие эластичные кремниевые пластинки со множеством пор. Эти поры пропускают растворенный в морской воде воздух, но задерживают воду. «Фильтрующий блок» подводного дома изготавливается из четырех слоев пластинок, разделенных уплотнителями из проволочной сетки и нетканого материала. Уже получен патент на получение из морской воды подобным способом почти чистого кислорода. Прототипом этой новой системы была оснащена подводная капсула, в которой прожили целую неделю несколько канареек. По мнению специалистов из Японского научно-технического общества, через несколько лет под-

водный дом с «искусственными жабрами» превратится в реальность.

«НАУКА И ТЕХНИКА»,
БОЛГАРИЯ

4.

Гектор исполнял свои обязанности стража в лондонском Таузере слишком рьяно: каждый посетитель древнего замка мог подвергнуться нападению со стороны Гектора.

Он отнимал бутерброды у туристов, калечил обувь у охраны, портил автомашины офицеров. Он сумел досадить даже герцогу Веллингтонскому.

Но однажды Гектор напал на коменданта замка, и с тех пор он находится за решеткой.

Гектор, один из всемирно знаменитых воронов Тауэра, сейчас отбывает четвертый год своего пожизненного заключения в лондонском зоопарке.

Хозяин ворона Джон Уилмингтон однажды навещал своего старого друга. Он рассказывает: «Гектор был рад увидеть меня. Он, несомненно, думал, что я заберу его обратно».

Гектор начал свои проказы с того, что выхватывал бутерброды у посетителей. Потом он наловчился превращать безукоризненно сияющие ботинки охранников Тауэра (плод многодневной полировки) в жалкие лохмотья — птица долбила носки ботинок с неослабевающим энтузиазмом. «Он доводил стражу до слез», — признает Уилмингтон. Затем Гектора заинтересовал хром, украшающий автомобиль «мерседес-бенц», принадлежащий офицеру, несущему службу в Таузере. Повреждения оценивались примерно в пятьдесят фунтов.

А однажды настала очередь и герцога. Ключ зажигания обычно оставался в его лимузине. И вот Гектор украл ключ. Герцогу пришлось бросить машину до тех пор, пока не был изготовлен новый ключ.

«УИКЭНД», АНГЛИЯ

5.

Не подумайте, что речь пойдет о приемах, с помощью которых знаменитый комиссар Мэгре вылавливает преступников. Нет, дело действительно в кухне — в приготовлении супов, соусов и мяса. В романах Жоржа Сименона, как правило, о пище рассуждает жена Мэгре Луиза. Но, подобно тому, как Флорбер говорил о мадам Вовари: «Эмма — это я», — так и Сименон мог бы вполне воскликнуть: «Луиза — это я». Многочисленные рецепты французских блюд, автором которых представлена в романах жена комиссара Мэгре, на самом деле выверены и отработаны самим писателем.

«Кухня — мое любимое призвание», — любит повторять Сименон. На снимке вы видите писателя в его домашней кухне-лаборатории. Не так давно на прилавках в Париже появилась книга одного гастрономического обозревателя под названием «127 рецептов мадам Мэгре». Нетрудно догадаться, что кулинарное пособие, связанное с именем детектива, пользовалось у публики успехом. В книге приводятся рецепты блюд, фигурировавших более чем в сотне романов Сименона, и даются комментарии писателя, как лучше братья за них приготовление. Ведь процесс известен ему от начала до... Мы хотели было написать «до конца», но это значило бы исказить истину. Писатель любит готовить, но и еде он крайне воздержан и очень часто довольствуется лишь наблю-

дением за тем, как гости наслаждаются его очередным кулинарным произведением.

«ПАРИ-МАТЧ»,
ФРАНЦИЯ



6.

Когда молодой археолог, запыхавшись, прибежал со своей находкой в лагерь группы научных работников, расположившейся в долине реки Аваш в Эфиопии, он не мог от волнения произнести ни слова. Впрочем, то, что он обнаружил, заставило бы сильнее биться сердце каждого ученого: несколько обломков костей, которые археолог держал в руках, делают историю человечества богаче самым меньшим на миллион лет.

Этот археолог, эфиопец Алемайех Асфоу, — один из членов международного коллектива ученых, долгое время проводящего раскопки в Эфиопии. На месте открытия залегает вулканическая порода, возраст которой — что было определено с помощью современной техники, включая радиологические исследования, — 3,5—4 миллиона лет. Каждый предмет, каждый обломок, залитый этой лавой, не может, следовательно, быть моложе самой породы. Обнаружение в породе останков человека означает, что человек жил в период образования этих смальных отложений.

Форма и состояние найденных зубов позволяют утверждать, что четыре миллиона лет назад человек питался мясом и растительной пищей. По мнению исследователей, он уже тогда был охотником.

Еще недавно археологи считали, что первый двуногий предок человека, «гомоэректус», потомок человекообразных обезьян, появился в Африке более миллиона лет назад. Два года назад сенсационное открытие Ричарда Лики опровергло эту теорию. Проводя исследования в Кении, он раскопал человеческие кости, которым не менее 2,6 миллиона лет. Теперешнее открытие делает нас старше, порождая одновременно новые гипотезы. Может быть, мы еще старше? Может быть, колыбель человечества вопреки теперешним теориям находится вовсе не в Африке, а восточнее ее? Часть ученых утверждает, что современная долина Аваша соединялась с Аравийским полуостровом, откуда, возможно, прибыли предки австралопитенов, как называют прародителей, останки которых археологи находят в Африке.

Как часто случается в археологии, и на этот раз ценное открытие принесло множество новых вопросов. Сможет ли наука когда-нибудь разрешить все сомнения, касающиеся происхождения человека? Археологи утверждают, что открытие в Эфиопии приближает нас к истине. Чем больше мы знаем о себе, об истории человека, тем осторожнее выносим решения, с большей тщательностью формулируем теорию.

«ДООКОЛА СВЯТА», ПОЛЬША

7.

В течение многих лет европейская хитрая рыжая лисица вдохновляла создателей сказок и неслало тепло мерзнувшим матронам. Но те-

перь это в обычных условиях сравнительно безобидное животное предлагает и нечто новое — бешенство. Эпидемия распространяется по Европе, перемещаясь в западном направлении со средней скоростью двадцать четыре мили в год (начиная со второй мировой войны). В прошлом году более чем три тысячи бешеных лисиц были уничтожены в Западной Германии. А в середине февраля нынешнего года это бедствие вызвало тревогу повсюду — от Турина до Парижа.

Эпидемия бешенства, поразившая лисиц, не угрожает жизни человека. И тем не менее французы содрогаются при мысли о том, что бешенство может затронуть и громадное число крыс, размножающихся в их столице. В Великобритании представители карантинной службы надеются, что эпидемия не сможет перекинуться с континента через Ламанш. Западногерманские лесничие разбрасывают в лесах мясо, пропитанное вакциной против бешенства. «Бешеные лисицы не опасны для человека, — замечают специалисты, — до тех пор, пока вы не попытаетесь подружиться с ними».

«НЬЮСУИК», США

Многие старожилы датской столицы не скрывали своей печали: с исчезновением трамвая изменится облик Копенгагена. Решение отцов города расширить парк и сеть автобусного сообщения было встречено демонстрациями протеста: цены на проезд в автобусах велики, да и воздух они отравляют изрядно. Но беда состоит еще и в том, что магистрат столицы, «увольняя» трамвай, уволил тем самым и 6 тысяч человек, обслуживавших его. И это при нынешней безработице!

«АКТЮЭЛЬ», ДАНИЯ

10.

На чертежных досках американских конструкторов появилось «воздушное чудовище», объединяющее в себе черты самолета и дирижабля. Самолет-дирижабль, наполненный гелием, легче воздуха. Летать с грузом он будет при помощи четырех турбореактивных двигателей и крыльев. Для подъема в воздух летательный аппарат разбегается со скоростью всего 130 километров в час.

«Мегалифтер», так назван самолет-дирижабль, сможет поднимать грузы весом до 200 тонн, которые из-за негабаритных размеров и формы можно перевозить только воздушным путем. Одна из основных целей создания «мегалифтера» — доставка по воздуху к пусковой площадке узлов космических кораблей, изготавливаемых в разных местах. Вследствие большого расстояния между кабиной и рулями управление новым летательным аппаратом будет осуществляться не механическим, а электронным путем.

«ШТИИНСЕ ШИ ТЕХНИКЭ», РУМАНИЯ

8.

Музыкант из Кельна Готхард Брюни, преподаватель местной консерватории, в свободное от работы время занимается конструированием музыкальных инструментов. На снимке он показан со своим новым изобретением — флейтой из... велосипедного насоса. «При правильной отработке техники на этом музыкальном инструменте можно брать четыре октавы», — утверждает Готхард Брюни.

«КРИСТАЛЛ», ФРГ



9.

Жители столицы Дании Копенгагена простились с... последним трамваем. С флагами и цветами совершили они свою последнюю поездку на трамвае по центру города. На обозрение горожан были представлены старинные модели трамваев, в частности еще тех, которые транспортировались лошадьми.

11.

Президент Бразилии генерал Гейсел обратился к членам конгресса, собравшимся на очередную сессию, с посланием, в котором обещал установить «демократическую систему, соответствующую чаяниям народа». Он подчеркнул необходимость проведения твердой политики по отношению к тем, кто подрывает существующий порядок, и призвал к единству вооруженные силы, вокруг которых и должны, по мне-

нию генерала, сплотиться все бразильцы.

О том, что такое «твердая политика», достаточно убедительно свидетельствуют новые аресты и пытки членов коммунистической партии. Об этом стало известно после публикации в газете письма Терезиньи Таварес на имя президента страны, в котором она писала, что ее муж Марку Антониу Козльо был подвергнут жестоким пыткам в управлении внутренней безопасности штата Сан-Паулу. Марку Антониу Козльо, член ЦК Бразильской коммунистической партии, был арестован без предъявления ему официальной обвинительной. Более месяца Терезинья добивалась в министерстве юстиции возможности увидеть мужа. Наконец, ей разрешили десятиминутное свидание. «То, что я увидела, — говорилось в письме, — скорее напоминало скелет — так был измучен пытками и плохим обращением мой муж. За месяц он потерял в весе 30 килограммов. Его руки в ссадинах и синяках от побоев, в ожогах от пыток электричеством».

Родственники 27 политзаключенных, о судьбе которых вот уже год министерство юстиции отказывается дать какую-либо информацию, обратились к Бразильскому демократическому движению (единственной легальной оппозиционной партии) с просьбой навести о них справки. Партия немедленно откликнулась на эту просьбу и сделала соответствующий запрос правительству. Однако ответ не удалось получить даже ей.

Председатель национального директората Бразильского демократического движения Уилис Гимарайнс от имени своей партии обратился к президенту с письмом, в котором, характеризовав обстановку в стране, отметил аресты, пытки и бесследное исчезновение политических деятелей, находящихся в оппозиции к нынешнему режиму.

Такова на деле «твердая политика» и «демократическая система», о которых говорилось в послании конгрессу генерала-президента.

«БОЭМИА», КУБА

12.

«Мужчины, в общем-то, симпатичные ребята, только несколько преувеличивают, бахвалясь своей силой», — утверждает Христа Фалензи, продавщица из западногерманского города Вупперталя. — Я имела возможность наблюдать, как они всеми силами стремятся не дать себя обогнать, но потом, километров через десять — пятнадцать, сходят с дистанции».

Мнение Христа отнюдь не голослово. Уже несколько раз она состязалась с мужчинами в одном из самых трудных видов спорта — марафонском беге и достигла удивительных результатов.

«Женщины — прирожденные бегуны на длинные дистанции», — говорит спортивный врач Эрнст ван Аакен. — Из мужчин выходят превосходные метатели, прыгуны и спринтеры, поскольку 40 процентов их тела составляют мускулы. Женщины же, напротив, имеют только 23 процента мускулов от веса тела, зато у них более толстый слой жировых тканей, и поэтому они в состоянии выдержать большее напряжение, что особенно важно при беге на длинные дистанции».

Подобный взгляд на роль мужчин и женщин в спорте является совершенно новым. Когда Аакен в свое время предложил, чтобы в число женских легкоатлетических дисциплин вновь ввели бег на 800 метров, то спортивные врачи, тренеры, журналисты и массажисты настоятельно советовали ему находиться у финиша, чтобы успеть оказать измученным бегуницам первую помощь. Но потом мы увидели, как спортсменки легко и даже с изяществом пробегали эту дистанцию. А когда в 1966 году был введен бег и на 1500 метров, то многие врачи и тренеры посчитали это чистым безумием. Теперь скептиков уже нет. Теперь женщины соревнуются и на трехкилометровой дистанции!

Маленькая Христа Фалензи (ее рост — 160 сантиметров) обладает потрясающей волей и энергией. Ежедневно она пробегает около ста километров, чтобы быть постоянно в форме. Недавно в марафонском беге у озера Вальде-

ней (близ Эссена) она показала действительно замечательный результат на этой дистанции — 2 часа 42 минуты 38 секунд.

Артур Лямперт, некогда известный легкоатлетический тренер, который три года назад впервые пробежал марафонскую дистанцию (ныне ему 83 года), заявил: «За несколько сот метров до финиша я сделал этой отчаянной девочке знак, и она увеличила скорость. Подобной стойкости и выдержки к концу бега я и у мужчин никогда не видел».

«ВИЕСНИК У СРИЕДУ», ЮГОСЛАВИЯ



13.

«Живущим в Парагвае индейским племенам ахе и гуаки угрожает опасность физического истощения», — заявил сотрудник франкфуртского этнографического музея доктор Муэнцель, который провел два года среди индейцев, изучая их язык, обычаи и религию. Это утверждение основано на его собственных наблюдениях и на информации, собранной в кругах прогрессивной парагвайской интеллигенции.

На индейцев племени ахе, занимающихся охотой и сбором съедобных растений в девственных лесах, устраивают регулярные облавы с использованием самолетов. Оставшихся в живых членов племени часто продают в рабство и заставляют работать на плантациях, женщин принуждают к проституции, а из детей готовят домашнюю прислугу. Невольничьи рынки не являются редкостью. Рабов можно встретить даже в столице страны.

Часть индейцев сослана в резервации, где они тысячами гибнут от голода и болезней. Здесь их заставляют отказываться от своего культурного наследия, запрещают петь родные песни, совершать древние ритуалы. Вождей племени подвергают жестоким истязаниям, чтобы запугать других и подавить самую мысль о сопротивлении.

Полковник Инфансон, который возглавляет управление по делам индейцев, известен как один из самых крупных поставщиков рабынь.

«ОРСАГ ВИЛАГ», ВЕНГРИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Владимир ГУСЕВ

На них печать почтенной скуны
И давность пройденных наук;
Но, взяв одну такую в руки,
Ты, время, обожаешься вдруг...

Случайно вникнув с середины,
Невольно всю пройдешь насквозь,
Все вместе строки до единой,
Что ты вытаскивало врозь.
Александр Твардовский

Герцен — сангвиник по темпераменту, «француз» умом, оратор, спорщик, общительный человек — принадлежит к тем фигурам, которые с первого взгляда не вызывают особого, «тайного» интереса: в нем вроде бы все как на ладони.

В нем, в его атмосфере, несмотря на сочиненного им хмурого «лишнего человека» Бельтова, нет ничего демонического, двусмысленного — того, что в начале XIX века гуляло по масонским ложам, по страницам романов Радклиф и по модным гостиным и с самого своего появления было высмеяно Пушкиным в Ленском и в Алексее из «Барышни-крестьянки», носящем свое знаменитое «черное кольцо с изображением мертвой головы».

В нем нет ничего картинно-таинственного — того ложного романтизма, до которого охоча «толпа», как называли писатели XIX века свою светскую чернь.

Из биографии, из строк Герцена, из написанного о нем встает внешний образ человека, который как бы не любит скрывать себя — его энергия направлена вовне, в мир, а не внутрь. В нем нет серой смуты, он весь окружен резким дневным светом и как бы блеском зеркал и чистого металла. Вот он бурно клянется в вечной дружбе юному Огареву — еще более взбалмошному мальчику, чем Герцен; вот он шумно бунтует в университетских аудиториях — «маловская история»; вот зуб за зуб препирается с жандармами, пришедшими его арестовать; вот на палубе раскачиваемого корабля спорит о республике с благодушным французом, оказавшимся герцогом де Ноаль; вот в очередной раз яростно обличает оловянного Николая; вот бежит пером по бумаге, скосив косматую русую голову и разбрасывая по строкам феерические мазки своих радужных публицистических образов.

Бывают люди, обреченные казаться «бодрячками»; и как бы ни трепала их жизнь — им лучше уж так и выглядеть вечно — бодро, умно и трезво-режуще, — все равно никто не поверит их горю...

Герцен — конечно, глубоко трагическая фигура.

Герцен — это трагедия разума, бессильного перед косным бытом, революционного сознания и напора пред лицом поражения всех революций — от декабристов, карбонариев и «Риэги» до 1848 года; в «Былом и думах» вызывают особую тяжелую смуту на душе страницы, посвященные

описанию жертв контрреволюции. Глядя на кровь и трупы, Герцен как бы стыдится чего-то; он не хочет описывать мертвых, хотя, как увидим, хорошо владеет искусством описания; его светлый, исходно добродушный разум не приемлет самой картины, атмосферы черного небытия. И ему-то приходится выговаривать:

«С тех пор прошли семь лет, и какие семь лет! В их числе 1848 и 1852.

Чего и чего не было в это время, и все рухнуло — общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье.

Камня на камне не осталось от прежней жизни. Тогда я был во всей силе развития, моя предшествовавшая жизнь дала мне залогов. Я смело шел от вас с опрометчивой самонадеянностью, с надменным доверием к жизни. Я торопился оторваться от маленькой кучки людей, тесно сжившихся, близко подошедших друг к другу, связанных глубокой любовью и общим горем. Меня манила даль, ширь, открытая борьба и вольная речь, я искал независимой арены, мне хотелось попробовать свои силы на воле...

Теперь я уже и не жду ничего, ничто после виденного и испытанного мною не удивит меня особенно и не обрадует глубоко...

Трудно, очень трудно мне начать эту часть рассказа: отступая от нее, я написал три предшествующие части, но наконец мы с нею лицом к лицу. В сторону слабость: кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить.

С половинны 1848 года мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотомщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие ошибки — ошибки лиц, ошибки целых народов. Там, где была возможность спасения, там смерть перепачкала дорогу...

...Последними днями нашей жизни в Риме заключается светлая часть воспоминаний, начавшихся с детского пробуждения мысли, с отроческого обручения на Воробьевых горах».

Кто плохо знает Герцена и его жизнь, тот сразу подумает: ну вот, жизнерадостный рационалист в душе был меланхоликом.

Ничего подобного.

Эти строки говорят о простом: что за все крупное в этой жизни надо платить крупной ценой.

Мы-то знаем, что после вот этих строк, приведенных выше, Герцен издавал «Полярную звезду» и «Колокол» — *Vivos voco*; что он не успокоился относительно «ошибок народов» и продолжал напряженно, мучительно размышлять о русской сельской общине и европейском социализме: «безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма» (Ленин); что личная его драма была преодолена. И так далее.

Бывают ситуации, когда кажется, что враждебная судьба, рок, существует почти материально; за границей перед пятидесятым годом Герцен столкнулся с таким испытанием — и в конце концов внутренне вышел победителем.

За плечами были кружки тридцатых — сороковых годов, арест, Вятка, стычки с Хомяковым и другими друзьями-врагами славянофилами, похвалы Белинского в адрес «Сороки-воровки» и

«Доктора Крупова», философские статьи «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы», переживания первой любви и дружбы.

«Энергическая», как выражались в XIX веке, натура Герцена требовала живой мысли, живого действия; в России в этом плане было делать нечего — Николай, «от мысли до мысли пять тысяч верст», по словам Вяземского; Герцен был не из тех, кто ждет у моря погоды.

Подобно тургеневскому Рудину он отправляется на чужие баррикады; но свобода, которая маячит перед ним, не чужая, а своя, русская.

И тут-то судьба начинает слать ему свои как бы предостережения...

Особенность натуры Герцена была в том, что он был человеком социальным по самому своему существу; его мысль, душа были всегда так прямо направлены в эту сторону, вся его личная жизнь настолько была пропитана философско-социально-политическим интересом, а жизнь общественная была настолько личной, что именно поэтому Герцен мгновениями производит впечатление какого-то большого дитяти: человека с непомерно развитым, рельефным умом и ребячливым сердцем, душой. Это впечатление ложно: просто Герцен в своей напряженной остроте мысли порой пробрасывает посредствующие звенья между окружающим бытом и «жизнью духа» — переносит прямо на этот быт высокие и абстрактные понятия, не укладывающиеся в него, как Прокруст в собственное ложе. Но само-то единство общего и личного всегда налицо.

И вот он вспоминает:

«...В это-то напряженное, тяжелое время испытаний является в нашем кругу личность, внесшая собою иной ряд несчастий, сгубивший в частном быте еще больше, чем черные Июньские дни — в общем».

Кровь чужих французов в трагические дни 1848 года неотделима от гибели детей и родных, от разобщения с единственным в то время близким другом — любимой женой и от ее гибели тоже; нечего скрывать, для обыденного сознания в этом есть что-то как бы отталкивающее.

Ну да, гибель французов, рассуждает это сознание; но есть разница между гибелью чужих и близких, и тот, кто пишет о гибели близких как о гибели чужих, наверно, не любил ни тех, ни других.

Герцен любил; душераздирающие сцены из последней части «Былого и дум» говорят об этом с простой очевидностью.

Но, по старой русской традиции, мысль о человечестве, о его счастье, переустройстве до того вошла ему в плоть и кровь, что — вот, даже выглядит несколько «сухо» (Блок) — неловко.

Необычное выглядит необычно.

Вначале приведены строки Твардовского; они целиком относятся к книгам Герцена.

«Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию» (Ленин).

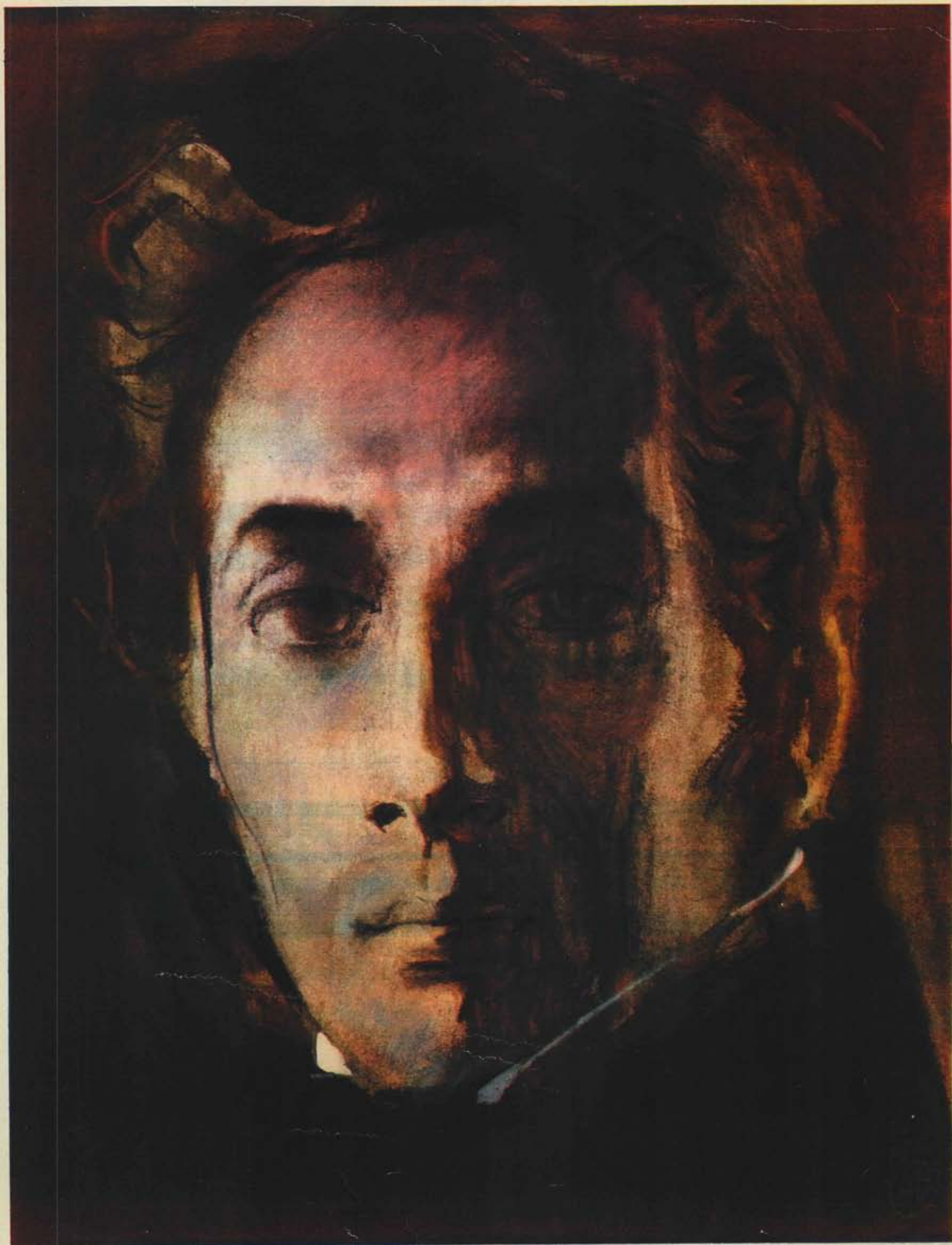


Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Мы уже видели, какие глыбы волок на себе Герцен, через какие огнедышащие рвы перешагивал, чтобы оставаться бодрым, идти к цели, служить своему светочу; однако Герцен не только революционер-действитель, но только друг карбонариев, французских повстанцев и чуть не всех европейских социалистов домарковского поколения, но писатель.

Собственно, «но» тут нехстати.

Именно раскаленное, жидкое железо герценовского слова сделало его революционером мирового и общерусского масштаба, диапазона.

Мы ныне порою слишком легко верим таким словам... и мысленно посылаем «примелькавшиеся» имя классика назад в хрестоматию: «мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий».

Так и с Герценом; к сожалению, и нам придется «врозь» (см. стихи), и все-таки самое-то лучшее с ним — просто читать подряд...

Герцена и при его жизни и после смерти много хвалили и ругали; отвлекшись от «текстов», вообще забыв о них, толковали о силе разума и его ошибках, о революционном порыве и бытовой слабости и об ином; но стоит открыть...

«Жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами...»

«После таких потрясений живой человек не остается по-старому: душа его или становится еще религиознее — или он... становится еще трезвее. Одно ведет к блаженству безумия, другое — к несчастью знания. Я избираю знание...»

«Сознание — вовсе не постороннее для природы, а высшая степень ее развития».

Герцен, «реалист» (материалист, в переводе на наши термины), спорит с обскурантизмом, ложью, невежеством, грубостью: «Разумеется, что священник и солдат — братья, они оба несчастные дети нравственной тьмы, безумного дуализма...»

Герцен — человек ума, духа — спорит с вульгарным материализмом а-ля Бюхнер, Фохт, Молешотт, — с подобием материализма, «...ничего не понимающего, кроме вещества и тела, и именно потому не понимающего ни вещества, ни тела в их действительном значении».

Герцен, революционер и философ, спорит с непоследовательностью, отстаивает бесстрашие ума и духа, с убийственной меткостью попадает в самую ахиллесову пату великого и бесконечно уважаемого им Гегеля: «Его же методу быют на голову те выводы, в которых он является не органом науки, а человеком, не умеющим освободиться от паутины ничтожных и временных отношений...»

И так далее.

«Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг — живое тело», — сказал Тургенев; опытный человек, он знал, что если у писателя ж и в язык, то живо и остальное.

О Герцене трудно писать, его трудно проанализировать; есть странные авторы, за которых как бы неловко братья для этих целей.

Он как бы сам следит за тобой.

Он сам столь много ухватил своим ясным умом и «живым» языком, заметил в сфере мысли, жизни, политики, права, морали, всего, что невольно приходит тебе в голову как бы от его лица: «Это ты — обо мне-то? Да я сам о тебе, если хочешь, напишу все что надо». Комментарии хорошо чисто эмоциональных писателей; таких, как Герцен, — тяжело. Все кажется, что он давно уж предусмотрел твои комментарии и сидит, усмехается.

Это тем более важное чувство, что в мощном разуме Герцена немало какого-то добродушия. Тут вряд ли употребимо другое слово, хотя комментарии опять-таки затруднительны; можно пойти путем сравнения.

Стоит сопоставить речь Герцена с речью, положим, Щедрина, и мы увидим, как более «сух» (не в оскорбительном, а в определительном смысле) гениальный Щедрин и более «влажен» Герцен: это терминология Блока применительно к персонажам Шекспира... Щедрин внешне более спокоен и даже «ласков», но второе его дно — сарказм, яд; если и «любование», то любование зоолога, нашего «прекрасный (!) экземпляр» того или иного земноводного или пресмыкающегося:

«Послал одного из стариков в Глухов за ивасом, думая ожиданием сократить время; но старик оборотился духом и принес на голове целый жбан, не пролив ни капли. Сначала пили ивас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерилось, загляли плешу и осветили навозную кучу. Плешу на котла, мигала и распространяла смрад.

— Слава богу! Не видали, как и день кончился! — сказал бригадир и, завернувшись в шинель, улегся спать во второй раз...»

Щедрин строг: он смотрит на окружающую жизнь только сверху — от верхнего идеала; он не дает потачки себе и людям.

Герцен тоже не чужд иронии, но посмотрите, какова она:

«В таком случае... конечно... я не смею... — и взгляд городничего выразил муку любопытства. (Он желает знать, за что арестован Герцен. — В. Г.)... Жандарм взшел с докладом, что ранее часа лошадей нельзя пригнать с выгона.

Городничий объяснил ему, что он прощает его по моему ходатайству; потом, обращаясь ко мне, прибавил:

— И вы уж не откажите в моей просьбе и в доказательство, что не сердитесь — я живу через два дома отсюда — позвольте вас просить позавтракать, чем бог послал.

Это было так смешно после нашей встречи, что я пошел к городничему и ел его балык и его икру и пил его водку и мадеру.

Он до того разлюбезничался, что рассказал мне все свои семейные дела, даже семилетнюю болезнь жены. После завтрака он с гордым удовольствием взял с вазы, стоявшей на столе, письмо и дал мне прочесть «стихотворение» его сына, удостоенное публичного чтения на экзамене в надетском корпусе...»

Описываемые ситуации похожи, но Герцен внутренне как бы улыбка.

Герцен в «языке» более прямолинейен и в то же время более патетичен, чем Салтыков-Щедрин, более патетичен в самой своей краткости, живой плотности, плотной живости, предельной и при этом непринужденной образной насыщенности, «предусмотревшей» многие действительные стили XX века:

«Гусар снова меня отдал на сохранение денщику. В пять часов с половиной я стоял, прислонившись к фонарному столбу, и ждал Кетчера, взшедшего в калитку нягининного дома. Я и не попробую передать того, что происходило во мне, пока я ждал у столба; такие мгновения остаются потому личной тайной, что они немые».

Герцен не стесняется в своей речи возвышенных категорий, «грома и блеска слов»; он неизменно более, чем Щедрин, настроен на живое, яркое и ясное позитивное, светлое в мире и четко стремится к нему — осуществляет его в идеях и в самом «языке». Герцен никогда не производит впечатление просто недовольного о го человека; сами его знаменитые филиппики в адрес того или иного социального или «вечного» зла, того или иного его представителя неизменно бодрый, энергичный и живодейственный, они направлены не против людей и мира в целом, а именно против зла и тьмы в них; а любовь к жи з н и и отсюда — то особенное добродушие так и видны в каждом слове — даже «злом» и «скептическом»:

«Тюфеев все утро работал и был в губернской правлении. Позняя жизни начиналась с трех часов. Обед для него была вещь не шуточная. Он любил поесть, и поесть на людях. У него на кухне готовилось всегда на двенадцать человек; если гостей было меньше половины, он огорчался; если же больше двух человек, он был несчастен; если же никого не было, он уходил обедать, близкий и отчаянный, в комнаты Дульцинеи. Достать людей для того, чтоб их накормить до тошноты, — не трудная задача, но его официальное положение и страх чиновников перед ним не позволяли ни им свободно пользоваться его гостеприимством, ни ему сделать транжир из своего дома...»

Она, эта любовь, — в самом ритме, в самой яркости и «линии», в гибкости, горячей, живой жизни фраз, в литой бесшабашности слова-синтеза, мысли, периода — «до безумия неправильных».

Как у всякого крупного деятеля духовной культуры, такие свойства не могут быть случайны; они — вроде бы мелкие и исходно-стилевые — ведут к главным.

Много и при жизни и после «по заслугам» терпел Герцен от своей «наивности», от своей детской веры и добродушия при всем своем колоссальном уме, от всей своей живости, от всегдашних порывов к немедленно-светлому, ясному и простому; но следно, не всегда светла жизнь — и вот «духовный крах...», тьма, усталость. И вновь — свет, яркое.

Мы «знаем» «былое и думы» со школьных лет, и — знание по программе — это иногда идет нам во вред. Мы спокойно помним, что это мы когда-то прошли и возвращаться не стоит: других дел много.

Но, «случайно» вникнув с середины», мы вдруг видим, как действительно много, при всех своих ошибках и срывах, сумел сказать Александр Иванович Герцен о мире и человеке (разве об этом не напомнили хотя бы и те цитаты, что даны выше?); как — вновь убеждаемся! — разум и любовь, если они слиты вместе, дивные дивы творят.

Исследователи Герцена давно уж отметили, что, в сущности, мы нередко судим о русском XIX веке как целом именно по «Былому и думам»: такова синтетическая сила этого ума и воли, такова яркость картины и жеста.

Но разве только «былое и думы»?

А те же «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы» — это одна из первых на русской почве историй мировой философии — историй, изложенных не педантом, а человеком ума и жизни.

А повести? А «С того берега»? А «Письма из Франции и Италии»?

А блестящее сочетание революционной публицистики с историей литературы — «О развитии революционных идей в России»?

Я не знаю, надо ли «к месту» подробнее напоминать «биографию и творческий путь» Герцена; может, и надо. Мы действительно в своем высокомерии по отношению к «школьной скамье» иногда забываем и самое простое.

Возможно, полезно снова сказать о 12-м годе, о детских клятвах, о памяти декабристов, о ссылке, жандармах, о «Докторе Крупове» и его реальной истории, о Женеве, Париже, о «Колоколе», отъездах и переездах; о жене и «Семейной драме», о метаниях, «думах» по поводу сельской русской общины; о верности идеалам, о трудности пути к ним, о западниках и славянофилах, о Белинском и Григоровиче, Огареве и Боткине — обо всем, обо всех; но, я думаю, все-таки нет ни смысла, ни пользы излагать здесь «былое и думы» и книги о Герцене.

Что же он завещал?

Надо ли оговаривать, что и на эти вопросы нельзя ответить совсем уж кратко: тут будут схема и «голый тезис» — не очень любимые Герценом и его друзьями.

Но что делать?

При мысли о Герцене, при образе его задорно-молодого (с баками) или солидно-бородатого пронизательного лица, при виде его книги, словом, при любом упоминании, напоминании о нем первое, что приходит в голову, — слово «разум».

Так и тянет написать Разум с большой буквы: тот Разум, который воспел поэт (не публицист, не философ!) Пушкин; тот Разум, который не отменяет любви и всякого бодрого чувства, а дружит с ними.

Для Герцена разум не рассудок, не догма; он «алгебра революции» (сказано о диалектике Гегеля!) и свет во тьме тупости и обскурантизма, он жив, приязнен ко всему живому и справедливому, и он одушевлен той «влагой» и теплотой; он живо противостоит всему косному, будь то старые сваденные обряды или очередное распоряжение оловянного Николая; он идет навстречу свободе и высшей морали.

Конечно, не одним разумом бодр этот мир; мало того, мир и во времена Герцена, и до, и впоследствии не очень даже и считался-то с законами высшего разума, о чем столь мощно и мрачно напомнил, возвестил Достоевский — сородич Герцена, современник, антагонист; так что же?

Какой же счет мы предъявим Герцену за «наивность» его колоссального, синтетического разума?

Герцену — этому революционеру уж слишком старого для нас XIX века, этому материалисту (философскому «реалисту») по убеждениям, идеалисту по духу, рационалисту «прекраснодушных» сороковых и менее прекраснодушных поздних лет, — мечтателю о великом, высокоом, разумном — вещах, высмеиваемых во многих жестких философских школах, «обобщающих» опыты грозного XX века, вещах, разъединяемых ими между собой — ополчаемых друг на друга: разум против любви, абстрактная «любовь» — против красоты мира и разума?

И все вместе — угнетаемые стандартом, военной индустрией, «массовым искусством», дымом Майданека и Сантьяго, империалистическим уродством и бесконечными «темными безднами»?

Герцен не знал, что так будет; но раскройте его пылающие, живые страницы — и вы увидите: да, он не знал, но он — с его умом, гением, — он в душе предвидел, предчувствовал; понимал, что может — и так...

«Иной раз мне казалось, что, беспрерывно расправляя свои раны, они в этой боли находят какое-то гугучее наслаждение, что это взаимное разъединение сделалось им необходимо, как вода или пикули. Но, по несчастью, организм у обоих начал явно уставать, они быстро неслись в дом уменьшенных или в могилу...»

Так написать о людях мог только человек, хорошо знающий о тех «безднах», о которых предупреждал Достоевский.

Мы часто упрощаем великих мира сего; вот, мол, у Герцена разум: уперся на этом.

На самом деле многие из них, великих, прекрасно понимают и все, кроме того, на чем они уперлись; и все-таки...

И все-таки остаются на своем.

Из последних стихов

Лайне Ричардовне БАРУЗДИНОЙ

Я писал о тебе
И пишу,
И куда от этого деться!
Я теперь
Никуда не спешу...
Может, в наше с тобой детство!

Я думаю о мальчиках,
Я думаю о девочках,
О тех, кому было семнадцать,
О тех, кому было восемнадцать
В сорок первом — сорок пятом.
И я знаю, какими были они
В те далекие годы,
В те вчерашние дни.

Я думаю о мальчиках,
Я думаю о девочках,
О тех, кто погиб под Москвой,
О тех, кто погиб под Берлином,
Не дожив даже до победы.

И хоть гул канонады
Давно утих,
Живы ныне порою родители их.

Я думаю о мальчиках,
Я думаю о девочках,
О тех, кто знал, на что идет,
О тех, кто знал, за что идет,
О тех, кто никак не хотел погибать.

Как бы сегодня
Ушедшие жили,
И как бы ценили,
И как бы любили!

Сейчас,
Когда уже нет тебя,
Я вновь
Возвращаюсь
К этой дате.

Тридцать лет
Прошло
С тех пор...
Тридцать!..

А мы!
А мы...

Это —
Наша жизнь,
Это —
Наша история,
Это —
Мы с тобой.

В Ливане
На израильской границе
Был артобстрел.
Впервые без тебя
Я вспомнил:
Солнце в Переделкине садится,
И скачут белки,
Шишки тербя...

А тут ракеты
Рушат все, губя...

Я снова
Вспоминал тебя.

Мы когда-то
Мечтали о званиях
И к тому
Прилагали старания —

Быть ефрейтором,
Или сержантом,
Или выше того — лейтенантом.

Ты была
Лейтенантом младшим,
Я — ефрейтором
Еле-еле...

На войне это было — в деле,
А сегодня!
Как
память павшим!..

Ох, уж эти
Гипс и костыли!
Пусть иные скажут:
— Не спасли!

А два года!
Это не во сне!
Я живу,
И ты
Жива во мне.

Как давно
Я не держал оружия,
Тридцать лет прошло,
Как не стрелял.

Я живу,
Пока я людям нужен...
Я про это
От тебя узнал.

Я прочитал
Посмертные записки твои.

В них есть строки:

«О каком моем мужестве идет речь!..
Мне не страшно...
Просто надо жить...
На войне было не легче...»

По земле белорусской
Ты шагала пешком.
Ты — эстонка,
Я — русский,
Знаем, знаем о том.

Ты по ней
Отступала,
Наступала по ней...
У войны есть начало,
Позже было трудней.

От Москвы и Смоленска
Надо было пройти
К землям пражским и
венским
Непростые пути.

И снова — Дубулты,
И снова — Юрмала.
Ты это прежде
Сама придумала.

В году хорошем
Послевоенном,
Когда вернулся я
Из-под Вены,
А ты вернулась
Из Порт-Артура,
И дочь лежала
С температурой,

Лежала
В очень плохой больнице,
И были
Чудом тогда границы...

И снова — Дубулты,
И снова — Юрмала.
Ты это прежде
Сама придумала.

А дочка выжила,
Встала на ноги,
И мы с тобою
Сюда нагрянули.
И возле взморья,
Нам неизвестного,
Случилось главное,
Почти чудесное.
И снова — Дубулты,
И снова — Юрмала.
Ты это прежде
Сама придумала.

Валентин КУЗНЕЦОВ

Послушай

жизнь

Красивы, что ни говори,
Глаза у речки Журавлихи,
Когда лежит ковер зарн
На тихом поле, на гречихе.
Струится шелковая грусть,
Бежит себе неторопливо.
А я никак не разберусь:
Где ты стоишь, где никнет ива.
Она глядит, как в забытьи,
В глубины вод, где рыбы блещут.
А листья узкие ее
Вверху, как ласточки трепещут.
Пойди туда. Поймай скорей
Ивовый лист бледно-зеленый
И, как птенца, его согрей
В уютном гнездышке ладоней.
Пока далек вечерний час,
Пока светло реки течение,
Постой у омутовых глаз,
Послушай жизнь, ее движенье.
Ведь все, что мимо нас бежит,
Спешит, летит
и светом льется,
Все это на сердце лежит,
Потом уж в песне отзовется.

Спешил снежок из сизой
дали,
Бежал через лесные сны,
Где елка — колокол печали,
Береза — колокол весны.
Летел он,
белый пух из лета,
И вот присел, как мотылек,
На красную гвоздику
света —
Едва приметный костерок.
И нет его! Нет белой сетки.
Снег не спешит
и не шуршит.
И лишь по обгорелой
ветке
За каплей
капелька бежит.

Имант АУЗИНЬ

В лесу

Вошел я в глубины леса
И лесом насквозь пронизан.
Он к солнечным вырубкам тащит,
В чащобы влечет меня.
В тумане осенне-сизом
Простор открывает мыслям,
Багульником розово-белым,
Багульником терпким пьяня.

Есть в мире такие тропы,
Где ворон не каркает мрачно,
Где наши глаза, как пчелы,
Пьют вереска сладкую снив,
Где душу твою очистят
Брызги ручьев прозрачных,
Где золото сыплют березы,
Блестит серебро осин.

Проходит олень смиренный,
Пугливо взлетает сойка;
Лес празднует бабье лето;
Закат утонул в крови.
Здесь осознаешь мгновенно,
Кого ты любил и любишь,
И будешь искать разгадку
Вечности
и любви.

Внезапно понимаешь: человек — единственный,
Кто в равнодушное пространство вносит время...
Так анст свой полет стремит таинственный,
Так к бесконечности направлен бег оленя.

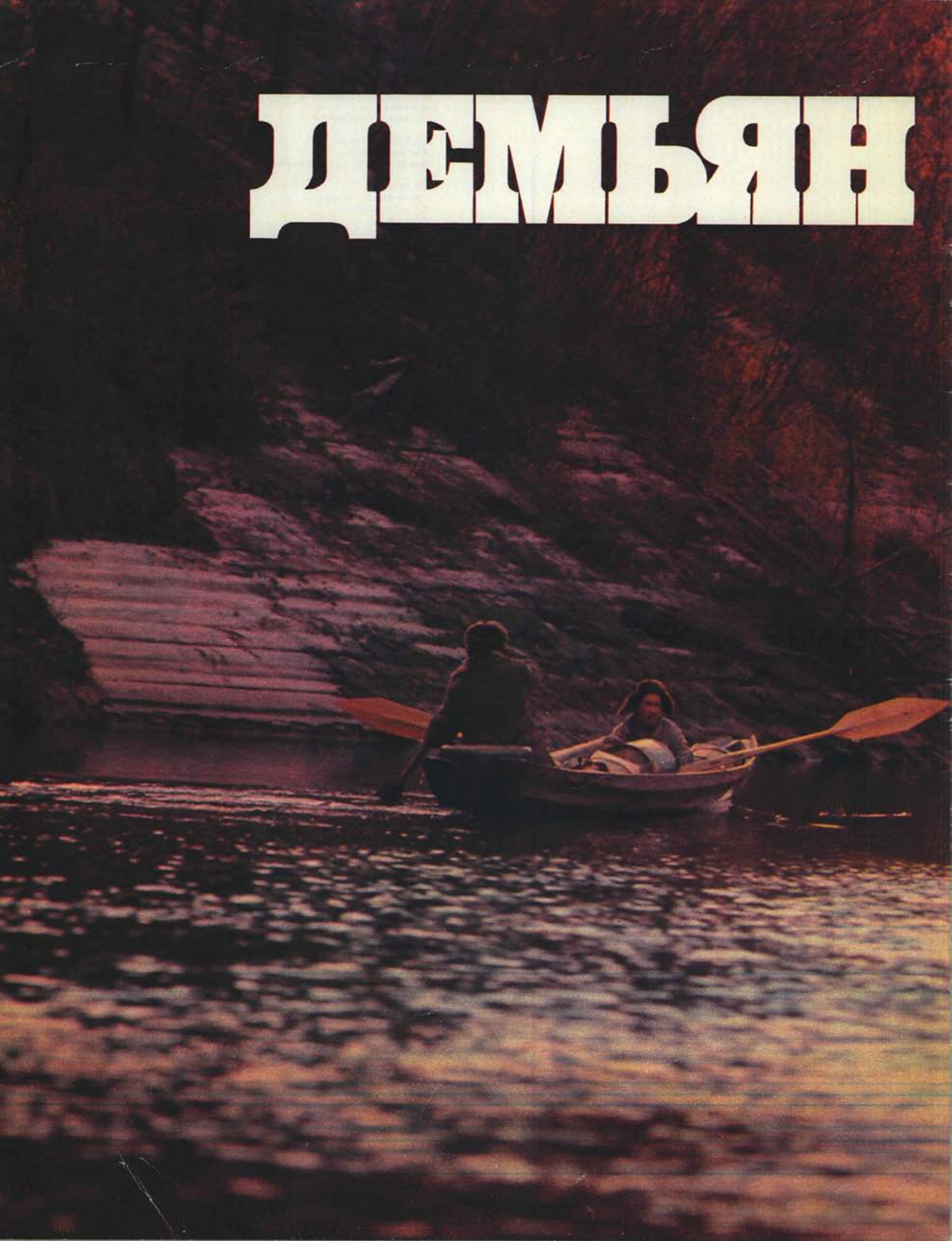
Не смейся над открытым запоздалым...
Май зеленеет, тонет в желтом осень.
Шагаем бодро иль бредем устало,
Но время только мы с собой приносим.

В нас дремлют корабли, уплывшие когда-то;
В нас оживают песни недопетых лет;
Пылают невозможные закаты;
И ансты летят. И оставляют след.

Да, только человек живет с отверзтой грудью,
Вобрав все бытие — спокоен, мудр.
В нем прошлых войн гремящие орудья
И первые лучи еще грядущих утр.

Перевел с латышского
Виктор АНДРЕЕВ

ДЕМЬЯН





Красота родной земли

Анатолий КСЕНИН
Фото автора

Судьбы рек сродни человеческим судьбам.

Бывают реки могучие, полноводные, гремящие мировой славой, намного перекрывающей гул напористого течения.

Бывают речушки неброские, всю жизнь терпеливо корпящие, без которых, однако, немислима жизнь людей, с ними соприкасающихся.

Есть реки, которым сама история дала известность, хотя и по протяженности и по значимости экономической они весьма заурядны. А нет вот — знаменитости!

Есть реки, ставшие символом целой нации, — взять неповторимую Волгу. Монопольно царствовала она в русских душах не одно столетие и еще будет царствовать.



СЧИТАЯ РЕЧНЫЕ ПОВОРОТЫ...

ВСЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В СЛУХ!

Тысячи речушек и рек под материнским крылом волжской славы текут по нашей разноязычной земле. Это тысячи истоков. Это тысячи устьев. А кто сосчитает, сколько поворотов, каждый раз открывающих плывущему бесподобную красоту приречного пейзажа! Нет людей, познавших и сотую долю родных рек. Мало людей, познавших от истока до устья хотя бы одну из них. А как важно это для человека, как пленительно прекрасна возможность постичь жизнь реки!

...Я летел сюда одним самолетом, потом другим, поменьше, потом вертолетом. И вот тяжелый «МИ-8», дважды завалившись набок, круто плюхается на высокую поляну в излучине реки. Грохот двигателей сменяется разбойничьим поскрипом лопастей и, наконец, оглушающей тишиной. И мы, даже не оглядевшись и не сказав «здравствуй» хозяевам охотничьей заимки, стоящей в стороне, начинаем выгружать лодки, палатки, мешки, ружья, полушубки и прочее — всего на восемь человек таежного жителя! Не один вечер обсуждалось это путешествие. Казалось, будет взято только крайне необходимое. А теперь вот вся поляна усеяна барахлом — как только разместится оно на трех лодках!

За разгрузкой не замечаем и погоду. Лишь отпустив вертолет, который на взлете разметал наши «казанки» метров на сорок, ощущаем, что жарко не только от работы. Хотя и конец позднего сентябрьского дня в сибирской тайге, а печет, будто в полдень на юге. Если и преувеличил ради красного слова, то ненамного: восемнадцать градусов тепла! Сентябрь кончается, Сибирь, да к тому же запасены полушубки, меховые унты и спальные мешки на собаачьем меху! И смешно. И наввно. И непривычно. Только тайга молчит, без любопытства взирая на нашу возню. С окончанием разгрузочной суеты начинается другая — отвыкшие уже от летнего гнуса, мы раздраженно отмахиваемся от комарья, ожившего жадно, осатанело во внезапном тепле. Для друзей моих, сибиряков, эка невидаль — комар! Но сейчас только о нем и думают, говорят и нещадно бьют по лбу и шее — уж больно необычен он в это осеннее время.

Вечер и усталость опускаются одинаково быстро. И вот уже ночевка в пустом доме с предварительным обильным чаепитием. Заснуть не успеваешь, как команда на подъем. И еще большее удивление: за худым покривившимся окном белым-бело! На крыльце поскрипывает густая изморозь, ледок колется под ногами — термометр показывает минус восемь. Под обрывком, удивленная не меньше нашего, дымитесь черным зеркалом река. О вчерашнем комаре и помину нет. Как не осталось и ощущения летнего тепла. Поверх легких рубаш, в которых разгружались из вертолета, сегодня напялены полушубки. Скорее от испуга перед такой необычной метаморфозой, чем от действительного холода... Грузимся на лодки. Полушубки мешают, но снимать их боязно.

Таскаем и таскаем грузы — продукты и канистры с горючим, запасной мотор и рацию с тяжеленным аккумуляторным ящиком, персональные рюкзаки и общественные мешки. Лодки, тихо всхлипывая, оседают все глубже и глубже. Уже и грузить бы хватит, а тут еще мы на берегу стоим. И как закономерная расплата за самонадеянность, за желание непременно предусмотреть все и под все неожиданные падения подстелить соломку — первое наказание на первых же минутах: лишь одна лодка выходит на реку. Обе другие перегружены. А это значит, что вместо тридцати километров в час, скорость максимум десять. От детально разработанного графика движения остался один пшик. Сразу мнится, что подобных «открытий» будет много. Правда, теплится надежда, что научимся не только преодолевать трудности, но и относиться к ним более философски. Наверно, с каждым днем будем отчетливее сознавать, что мы одни и помочь себе можем только сами.

...Давайте вновь посмотрим на реку с точки зрения жизни человеческой. Вот она, речная колыбель — затянута седым мхом поляна с родником, самоотверженно, уж который век с завидной настойчивостью выталкивающим из земных недр пригоршню за пригоршней ключевую водичку. Зыбкий ручеек, чем не новорожденный! Прикосновение к нему, как прикосновение даже ласковой материнской руки к ребенку, кажется опасным, так он хрупок и беспомощен. Здесь не один раз перешагнешь через родник, прежде чем увидишь таинство его рождения. А там дальше, глядишь, и детство беззаботное, среди кочек, душистых до истома летних трав, кажущихся дремучими колками, обойти которые каждый раз требуется столько сил и мужества. С годами-километрами набирает ручей силу.

Плечом к плечу, так и хочется сказать, с товарищами своими сдвигается он, впитывая в себя силу друзей, и постепенно становится Рекой. Трава, еще недавно казавшаяся ручью неприступным лесом, уже так, сорника в глазу, что хочет, то и делает с ней Река, одержимая буйством весеннего паводка. Смотришь, собрав все силы, впервые двинет в сторону настоящую преграду, в виде завала или промоиной прорежет глинистый бугор, который за версту приходилось обегать, растрачивая драгоценное время на кружной путь, путь, всегда мало логичный. Еще с полсотни километров — стала Река самостоятельным молодым человеком: так и рвется к жизни!

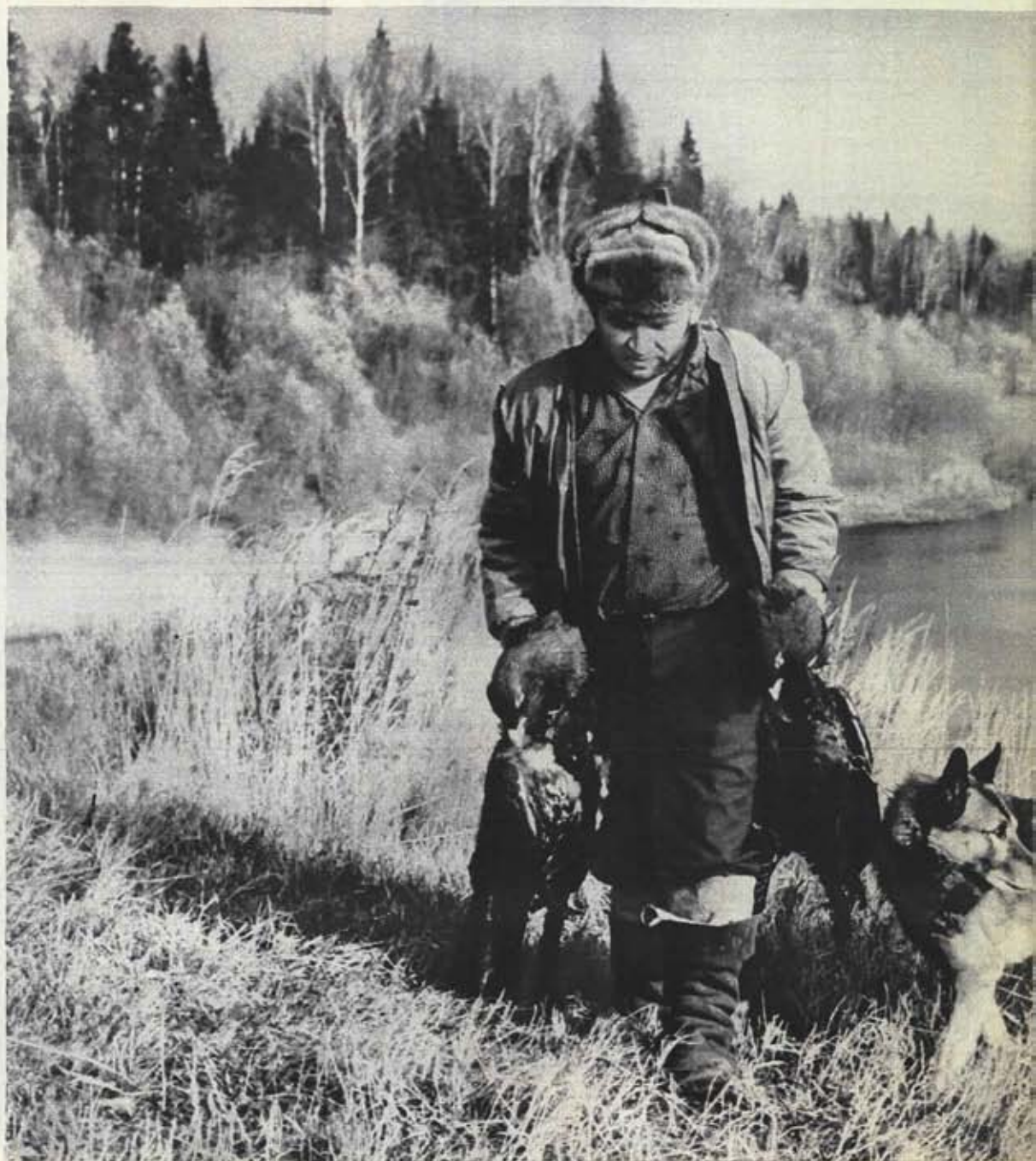
Но кончилось отрочество, полное ожидания чего-то нового за каждым поворотом. Забыла уже Река, как суетливо рыскала по земле, будто боялась пропустить нечто значимое, жизненно важное, может быть, исконный смысл самого существования. Ныне осмотрительнее стала, не так уж верит в радость открытий. Но нет-нет, да и сманит Реку жажда познания, и плавным поворотом, иногда далеким многоверстным изгибом ударится в поиск и, словно не найдя искомого, вернется к старому ложу. А повзрослев по-настоящему, отрезавшись от многих иллюзий, познает и первые обязанности — то водопой добрый для лесного зверья организует, то галечной высыпкой приманит древнейшую птицу земли со стальным отливом пера — краснобрового глухаря, чтобы набил он зоб своей камушками, готовясь перейти от мягкой ягодной пищи щедрой таежной осени к скупому почковому корму многоснежной зимы. Или вдруг разок-другой поможет человеку — то напойт в жаркий рыбацкий вечер, то тело освежит прохладным купанием, то путь сократит из точки в точку, подкинув лодочку охотника. И как всякому мудрейшему человеку, труд все больше и больше будет нравиться Реке. И, наливаясь силой, будет она уже споро и легко нести

бортастые лайбы с нагруженными выше берегов стогами свежего сена, плоты из смоляных ствол, валенных в верховьях и сплаваемых вниз, к месту, где суждено на пустыре подняться новому дому промысловика. Кто знает, не начало ли это будущего города...

А Река, утомленная повседневными заботами, кормя человека, поя его, наряжая в ондатровые меха, чтобы не мерз в холода, будет мечтать, особенно долгой и лютой сибирской зимой, укрывшись от вьюг под теплой кухлянкой из льда и снега, будет мечтать о больших белых пароходах, которые понесет к Океану. Не всякой Реке, как не всякому человеку, доведется осуществить заветную мечту.

Говорят, жизнь течет, как река. Но ведь и Река течет, будто жизнь. Уже не одни пошли приобретения. Оглянись, Река, потерь-то сколько! Там одна старица, — может, самый дорогой кусок отломился, — там другая... Полны движения были когда-то эти три-четыре километра прозрачной воды. А сейчас дыхание смерти все ближе. Густой осокой заволокло берега, стали теряться очертания, словно размыло временем. Камышовые заросли жестким кольцом перехватили горло, а густой осенний лист с набитым ветром сухим ветняком будто тромбом закупорил овражек, прервал последнюю связь с материнским руслом. Река же, невзирая на потери, пробивается сквозь время и пространство с невиданным упорством. Но жизнь сурова. И, будто осознав бесплодность своей мечты, бессилие противостоять судьбе, Река тихо отдаст свои воды другой, более сильной. Растворится в ней не только водами своими, но и именем своим.

Когда пройдешь с Рекой весь ее путь от рождения до смерти, станешь на стрелке, как на деревенском сиром погосте, где лежат дорожные тебе, никогда не виденные предки, еще острее ощутишь истоки новой, более значимой жизни.



И признаешься, что тебе удивительно повезло в этом путешествии — будто одарило случаем прожить самому две жизни вместо одной.

Прошлое, накладываясь на настоящее, пьянит, распирает душу необъятностью виденного и почти интимностью связи с ним. Стою по щиколотку в береговой глине на стрелке, где впадает прекрасная и скромная река Демьянка в широкий Тобол, а тот — дальше, в знаменитый Иртыш, ставший Ермаковой могилкой и воспетый в народных песнях, а тот — дальше, в Обь, которая уже кажется недостижимой.

Там, в прошлом, дин короткого путешествия по Демьянке. Нет. Больше не могу так называть эту Реку. Еще вчера, глядя на крупномасштабную карту, на голубую взбухшую вену Демьянки, произносил это слово спокойно, с полным доверием и пониманием беспристрастности географического символа. Ныне дело другое. Теперь оно не только символ. И название ее официальное неприемлемо для меня так же, как для промысловиков, тремя семьями живущими на протяжении почти семисот километров, которые мы прошли по воде. Особое отношение к Реке звучало в устах каждого, от мала до велика. И когда я давал бензин старому ханту, тянушему с сыном на веслах грузенную кедровым орехом лодку — «орех есть, бензин нету»; и когда после черной бани за крутым чаем в избе Петра Григорьева судили да ржали о жизни; и когда у костра свела речная тропа с Яшкой-охотником, шедшим в верховья, — неизменно слышал я уважительное «Демьян».

«Вверх по Демьяну...», «Помню, Демьян...», «Демьян, он у нас таков...»

Для людей, живущих на этой реке, людей, родившихся здесь и которым скорее всего суждено в землю лечь здесь же, как легли их отцы и деды, река не просто река, какая-то там Демьянка. Это товарищ. Товарищ Демьян.



ОХОТНИЧЬЕ СЕРДЦЕ ЛКУЕТ!

...Кому посчастливилось по-настоящему хаживать по земле — не только по московским тротуарам или невиским набережным, — знают, что в тайге мелочей не бывает. И когда зеленый новичок, «зеленушка», неосмотрительно гусарствует, пренебрегая неписаными правилами таежного хождения, это и глупо и страшно. Пожалуй, из нас лучше всех понимал это Юрий. Он самый грамотный — многолетний опыт геолога-испытателя за плечами и планшет с подробнейшей картой на боку. Каждую минуту он во всеоружии. Юрий не борется с тайгой, он растворяется в ней, не столько глядя вокруг, сколько вперед. Считая речные повороты, вдруг скомандует: «Стоп!» Причаливаем к крутому яру, карабкаемся по осыпи и замираем от восторга. Стоим на узеньком, в несколько шагов, перешейке между руслами, а река рисует петлю. На яру, словно в благодарности этому чуду, высатся калиброванные кедр. Не их ли пожалела река, давая лишней круг! Кедровые деревья, замерли. Весь бор манит чистой и неизведанностью. Кто-то предлагает побелковать. Спущены собаки. Первый облай. Первая белка, мягко стуча по сучьям, падает в мох к подножию кедр. И охотничье сердце от первого прикосновения к добыче, как при первом свидании, готово вырваться из груди. Все воспринимается таким праздничным и доступным. И мы разбредаемся окрест на часок-другой...

Иду беспечно, как «зеленушка». Со мной Юрий, а у него карта. Потому и дорогу не запоминаю — ни к чему, только по свету общо ориентируюсь. После сидячего полудня, проведенного в лодке, так приятно шагаешь. Старицы, то малые, то большие, путают след, слепая протока, глубиной по пояс, заставляет свернуть, крутит топкий рям... Вот и назад срок поворачивать. Легко ориентируемся по карте, зная, что река где-то дышит за соседним косогором. Пятко белок болтается у пояса. Да рябцов троица — будет суп отменный, колья еще хотя бы столько же в общий котел прибавят другие. Когда выходим к реке, знакомого обрыва на месте нет. На карте изгиб очень похож, а лодок нет. И уже сомнение — туда ли вышли! Решаем спускаться по течению. Бурелом на юру не дает хода. Продираемся вдоль осклизлого намыва, рискуя поминутно сорваться в холодную воду. Пахнет черной смородиной. Мишки — черемуховые заломы, как свидетельства недавнего их присутствия, на каждом шагу — прошлись дружно и по черносмородиновым зарослям. Ягоды, уцелевшие на самых труднодоступных стеблях, сладки, и нет сил удержаться, чтобы горстью не кинуть их в рот.

Идем час, другой... То поднимаемся наверх, то вновь спускаемся вниз, к воде. А лодок все нет. Еще один плес для проверки. Еще один... А лодок все нет. Ясно, что заблудились. Время обеда прошло. Молчим, понимаем нелепость ситуации — ведь с картой же! Представляем, что делается на стоянке, где сначала поругивали, потом обед без нас съели, потом искать начали... Нашагавшись, в предвечерье останавливаемся и греемся у наспех разведенного костра. Юра долго смотрит на карту, потом в жидкое костровое пламя и со вздохом говорит: «Жди здесь, я пошел обратно». Мне смертельно не хочется оставаться одному, смертельно жалко Юру, которому предстоит весь пройденный с таким трудом путь повторить да еще и плюс пройти нечто. Вало предлагаю идти вместе, понимая, что это глупо. «Один должен ждать!» — отвечает Юра и уходит.

Устраиваюсь поудобнее у костра и смотрю на пустую бесцветную реку. Серая пелена неба затягивается медленно и нудно сизым снежным облаком, которое так же нудно начинает сыпаться белой крупой. Снег тает. Вокруг мокро и холодно. Долго, по-моему, бесконечно, вслушиваюсь в пустоту. Чудится далекий стук лодочного мотора. Выясняется через мгновение, что это лишь ветер или далеко в небе тянет рейсовый самолет. Уже в сумерках приходит лодка. Никто не ругается. И от этого еще более тошно — даже сгущенка, уплетаемая на ходу, горчит. Юрий сокрушенно качает головой: «Я-то, старый волк, как мог пустить такого петуха! В ста метрах от перешейка прошли. Наваждение». Ну что ж... Пожалуй, прелесть этого урока в том, что преподан он в начале пути, — есть время его усвоить.

...Чтобы понять, как важно для живущих на Реке чувствовать в ней товарища, надо пожить здесь. Нет, не приехать в теплую избу дня на два-три поохотиться, а оторваться напрочь от цивилизации, именуемой благоустроенным бытом. Только тогда поймешь свою зависимость от Реки, поймешь, что она не есть лишь поток воды, а кипучий поток жизни — и в глубинах, и на водной глади, и в лесистой береговой пойме. Недаром, когда глядишь в замидевельный иллюминатор вер-

толета, видишь среди жухлых осенних болот вечнозеленую, будто бессмертную, ленту Реки, с ее кедровыми густочаши, пьющими из главного русла и как бы охраняющими воду от всякого глаза.

Демьян...

Для меня слово это навечно сливается Реку в единый образ с человеком. Представляю кряжистого, могучего сибиряка, с густой бородой, с умными, спокойными глазами, с движениями спорными и прижимистыми, рачительно тратящего каждую минуту на дело, с руками, покоя не знающими, — колья нет заботы сегодняшней, работающими впрок, на заботу завтрашнюю. Доброжелательного и прямого в суждениях. Мужественного и скромного в поступках. Полного глубинного, само собой разумеющегося гуманизма. Принимающего, однако, жизнь со всей жестокой неприкрытостью. Такой свою землю осваивает сердцем, будто каждый комок ее сквозь пальцы пропустил, каждую травинку разгладил. Таков человек, живущий на Демьяне, таков и Демьян, текущий в Затоболье, по земле Тюменской, по земле Сибирской.

Не запальчив ли я по-городскому в своей любви к непривычному! Не видится ли мне Демьян в ореоле романтики, как нечто такое, чего каждый день под боком нет, но видеть всегда любо! Не знаю ответа. Ищу его — и не нахожу. Может, в том и есть ответ, что нет его. Как нет объяснения, как не должно быть никакого объяснения любви человека к Родине, к земле своей, на которой родился. Ибо если нет любви той, то и человека нет.

...Серый, будто из камня, а не из дерева, крест стоит малоприметно в зарослях над обрывом, среди расступившихся золотых лиственниц. Оплыли вырубленные в крутогорье ступени, с кое-где сохранившейся полусгнившей деревянной крепешкой. Здесь, наверху, над водой — а кажется, над всем миром — даже стена лиственниц не способна ослабить эффекта взлета, царственности места. На густо поросшей поляне, скосочившись, цветом под стать серому кресту, доживает свой век несколько сотворенных человеком коробок: дом с плоской крышей, некогда крытой, будто железным листом, березовой корой, со слепым окном без стекла да глиняной трубой, расстрескавшейся вдоль и поперек; лабаз на высокой платформе — ни дать ни взять курья избушка на трех ножках — четвертый столб тухлой рассыпался. Под лабазову стреху сунуты сторожки — плоские щепы с надрезом — не вчера ли прибрал их сюда хозяин, вернувшись из тайги! Пожалуй, это единственное, что разнится с картиной давнего запустения. Когда-то здесь текла жизнь, размеренная, неторопкая, трудная.

И вот все кончилось. Нет жилья. Никогда не узнать, почему — соседей и не было, спросить некого. То ли хозяев потянуло к людям, то ли вымерли до последнего, то ли отступили в каждойдневной борьбе за право выжить в глухом и суровом краю. Так или иначе, ушла отсюда привычная человеку жизнь, хотя, конечно, не кончилась она: продолжают шуметь лиственницы, густеет сор-трава, еще теплится тропинка под многослойной опавшей листвой. Грустно. Ведь все здесь — от бревна в венце до глины в трубе — добыто и сработано одним топором. Один на один стоял в этой борьбе человек, опираясь на помощь, пожалуй, только реки да веры своей в человеческое всемогущество. Как хотелось, чтобы навечно остались эти следы первопродческой жизни! Но время беспощадно. И река беспощадна — подмывает откос, и скоро сползет все в воду и канет в Лету. Все. И в первую очередь безымянный серый крест из необхватных бревен. Отсюда, с заброшенного подворья, как-то совсем по-иному смотрятся и тайга, и река, и небо над головой. Все сегодняшнее, сиюминутное — лодка и товарищи мои глядящая лишними, нарушающими возрожденный временем покой безлюдного простора.

...Смотрю я на друзей своих, с которыми прошел по Демьяну сотни километров. Разные они люди. С разными взглядами на жизнь и подавно характерами разными. Но едино в них главное — любовь к земле своей, любовь ненасытная, истинная, а сама сущность их человеческая то одной, то другой стороной уж очень схожа с образом вымышленного мною мужика Демьяна.

Низкий поклон им, и реке и человеку, за доброту и суровость, за щедрый промысел и скрупулезную науку, за то, что они есть, за укрепившееся желание пойти и в следующем году навстречу новому Демьяну, чтобы там, в пути, еще раз прожить речную жизнь от рождения до смерти, еще раз убедиться, как связаны мы с землей, нас родившей.



Рисунок Андрея ДМИТРИЕВА



Рисунок Олега ТЕСЛЕРА



Рисунок Виктора СКРЫЛЕВА
и Владимира ИВАНОВА

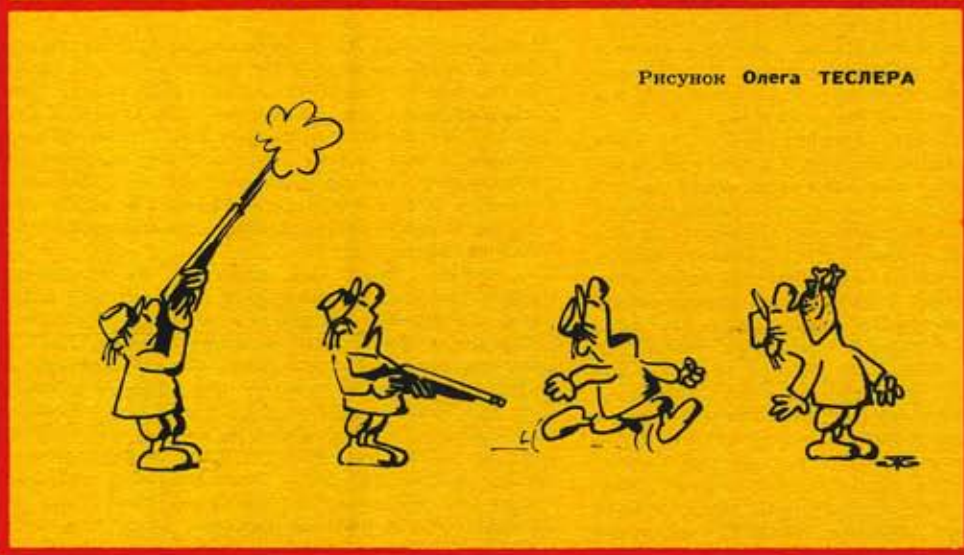


Рисунок Виталия ПЕСКОВА

ШАХМАТЫ ПОД РЕДАКЦИЕЙ МАСТЕРА ВИКТОРА ЛЮБЛИНСКОГО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ XVII ОЛИМПИАДЫ



Владимир ИОНЦЕВ



Анатолий СПИРИДОНОВ



Константин СТОЯНОВ

Подведены итоги XVII юбилейной шахматной олимпиады «Смены», в которой приняли участие читатели из всех союзных республик и ряда социалистических стран. Включая классификационные турниры, в этом традиционном заочном соревновании участвовало около 11 тысяч любителей шахмат. 3 120 человек получили впервые или повысили спортивные разряды по шахматам.

Более полугодя жюри рассматривало письма читателей с решениями и ответами. Каждая работа была по достоинству оценена. При обнаружении участниками побочных решений, нерешаемости и т. п. присуждалось то же число баллов, которое было обусловлено для правильного, полностью исчерпывающего ответа. Определены сумма баллов каждого нашего «олимпийца» и результаты олимпиады в целом.

Первое — третье места, с 78 баллами из 100 возможных у каждого, разделили

Владимир ионцев — штурман гражданской авиации (пос. Зырянка, Колымского района, Якутской АССР), Анатолий Спиридонов, бригадир службы пути метрополитена (г. Москва) и Константин Стоянов, студент высшего инженерно-строительного института, мастер по шахматам (г. Варна, Болгария).

Четвертое место — 76 баллов — занял Виталий Федосеев, грузчик-штабелящик (пос. Белоярск, Новоалтайского района, Алтайского края).

Пятое — шестое места разделили Валерий Деревяно, инженер-конструктор производственного объединения имени В. И. Ленина (г. Минск) и Онтябрина Санданова, выпускница средней школы № 1 (пос. Ачинск Читинской области). У них по 75 баллов.

На седьмое место с 74 баллами вышел Виктор Соколов, слесарь локомотивного депо (г. Горький).

Восьмое — одиннадцатое места, имея в активе по 73

балла, разделили Михаил Вербный, технорук лесопушки (пос. Пасьева, Вельского района, Архангельской области), Михаил Костюк, рабочий (г. Кишинев), Виктор Нуделев, забойщик известкового карьера целлюлозно-бумажного комбината (пос. Бахари, Красновишерского района, Пермской области), Иван Радковец, геофизик (Тюменская область).

Все победители XVII олимпиады награждаются дипломами и фотоснимками выдающихся советских grossмейстеров.

Согласно условиям олимпиады, дипломами и шахматными книгами премируются участники, занявшие последующие 21 место: Анатолий Лемешин, рабочий трубного завода (г. Волжский, Волгоградской области), Людмила Лузина, художник-оформитель завода имени Свердлова (г. Пермь), Сейфулла Насбуллаев, тракторист (село Весагаш, Джамбулской области), Седил Ондар, учитель средней школы (совхоз «Волшебник», Дзуи-Хемчинского района, Тувинской АССР), Владимир Орлов, учащийся радиомеханического техникума (г. Ленинград), Анатолий Пальцев, машинист паровоза (г. Омутнинск Кировской области), Нил Саттаров, учитель школы рабочей молодежи (пос. Карабаш, Бугульминского района, Татарской АССР), Владимир Ульянов, инженер-технолог (г. Чернышеск), Сергей Фролов, инженер завода автокранов, и Руслан Хохлов, слесарь по ремонту ткацких станков, оба из г. Кинешмы, Ивановской области, Александр Шестунин, слушатель Высшей инженерной пожар-

но-технической школы МВД СССР (г. Москва), и Таджидин Уснитдинов, студент Института народного хозяйства (г. Ташкент) — по 72 балла;

Тамара Аграманова, сотрудник узла связи (г. Вохма Костромской области), Зайтун Гареев, работник химического завода (г. Стерлитамак Башкирской АССР), Дмитрий Красников, энергетик насосного завода имени Котовского (г. Кишинев), Валерий Ласов, мастер лесопромышленного комплекса (г. Братск Иркутской области), Всеволод Понтрягин, работник клеевого завода (г. Энгельс Саратовской области), Игорь Попов, военнослужащий, Борис Пральников, преподаватель кулинарного училища (г. Липецк), Алексей Сороновой, машинист электровоза (г. Красный Лиман Донецкой области), Мария Югай, преподаватель (г. Целиноград).

Редколлегия «Смены» выражает признательность читателям, принявшим участие в юбилейной олимпиаде и ее шахматных турнирах. Приглашаем всех желающих выйти на старт новой олимпиады, которую предполагается открыть в одном из ближайших номеров журнала.

Приводим краткие ответы на задания пятого, заключительного, тура XVII олимпиады.

Задача № 1 — 1. Фd2—d4+1 Крe5—f4 2. Фd4—e3+ Крf4—e5 3. Фе3—d2! e4—e3 4. Фd2—d4X. Побочные решения 1. f3 и 1. f4+ ведут к мату на втором ходу.

Задача № 2 — 1. Кf4—d3! Кf6—d5 2. Фd4—c4+! b5:c4 3. Кf3—d4X.

Задача № 3 — 1. Лb2: b7+ Кра1—a2 2. Лb7—b2+ Кра2—

a1 3. Лb2—b8+! Кра1—a2 4. Фе3—b3+ Кра2—a1 5. Фb3—a4+! Le4: a4X.

Этюд № 1 — 1. Kg5—f7 Лd8—e8 2. Кf7—d6+! e7: d6 3. Лa3—f3+ Крf5—g6 4. Лf3—g3+ Крg6—h6 5. Лg3—h3+ Крh6—g6 6. Лh3—g3+ Крg6—f7 7. Лg3—f3+ Крf7—e7 8. Лf3—e3+ Крe7—d8 9. Лe3: e8+ Крd8: e8 10. a2—a3 Сe8—b7 11. Крe1—d2 Крe8—f7 12. Крd2—e2 Лa7—a8 13. Крe2—f1 Лa8—h8 14. Крf1—g1 Крf7—f6 15. g2—g3 Крf6—f5 16. f2—f3 Лh8—e8 17. Крg1—f2 Лe8—e7 18. Крf2—f1 с ничьей.

Этюд № 2 — 1. h6—h7! e3: b2+ 2. Крc1—b1 Кd5—c3+ 3. d2: c3 d4: c3 4. b3—b4! Ca3: b4 5. h7—h8 Ф±.



Фрагмент № 1 (см. диаграмму) — 1. ...Фc4: a2+ 2. Крb1—c1 Фa2—a1+ 3. Крc1—d2 Лc8: c2+! 4. Крd2: c2 Cg8—b3+! 5. Крc2: b3 Фa1—a4X.

Фрагмент № 1 — 1. ... Лc8: c2! 2. Фd4—d6+ Фb7—e7 3. Фd6—b8+ Крf8—g7 4. Фb8—e5+ Фе7—f6 5. Лd1—d7 Фf6: e5 6. f4: e5 Лc2: b2 7. Le1—c1 Крf7—g6! 8. Лd7: a7 Лg8—d8 с перевесом у черных.

Наш адрес: 101457, ГСП, Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Телефон для справок: 253-30-87. Рукописи, фото и рисунки не возвращаются.

Сдано в набор 4/VII 1975 г. А 08564. Подписано к печати 25/VII 1975 г. Формат 70 × 108¹/₂. Усл. печ. л. 5,60. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 1 200 000 экз. Изд. № 1747. Заказ № 859. Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции типография газет «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24.

АЛЫЙ ПАРУС НАДЕЖДЫ

Слова Людмилы ЩИПАХИНОЙ
Музыка Вадима СЕРЕЖНИКОВА

Все случается в жизни:
Непогода и мгла.
Налетает беда ураганом кромешным.
И судьбою твоей
Управляет тогда
Алый парус надежды,
Алый парус надежды,
Алый парус надежды.

О тебе сокрушается
Где-то сердце одно.
Эту тонкую нить второпях не обрежь ты.
И качается зыбко
На холодном ветру
Алый парус надежды,
Алый парус надежды,
Алый парус надежды.

Над туманом невзгод
И случайных потерь
Постоянством и верностью душу утешь ты.
Ведь недаром так ярко
Сияет теперь
Алый парус надежды,
Алый парус надежды,
Алый парус надежды.

Ты по свету бродил.
Ты вернулся домой.
И в родимом краю ты желанный, как прежде.
Вел тебя сквозь тоску,
Сквозь разлуку и тьму
Алый парус надежды,
Алый парус надежды,
Алый парус надежды.

ПЛАВНО, РАЗДУМЧИВО.

Музыка Вадима Серезникова. Первый системный блок нотного произведения, включающий вокальную партию и фортепиано-аккомпанемент. Включены ноты, гармоника (Cm6, Abm6, G7) и динамические markings (p, cresc.).

Музыка Вадима Серезникова. Второй системный блок нотного произведения. Включены ноты, гармоника (Bb3, Fm6, Eb, C7, F, Ab7, Cm) и динамические markings (p, cresc.).

Музыка Вадима Серезникова. Третий системный блок нотного произведения. Включены ноты, гармоника (Cm, Fm6, G7, Cm6, D7(maj), G, Cm) и динамические markings (p, rit., leggiero, mp).

Кроссворд с пронумерованными клетками для заполнения слов.

КРОССВОРД

Кроссворд составил
Ф. ХАРТОНОВ
г. Москва.

По горизонтали:

- 7. Каркас железобетонных сооружений.
- 8. Один из руководителей студенческого строительного отряда.
- 10. Искусственный строительный материал.
- 11. Машина для строительства дорог.
- 12. Грузоподъемная машина.
- 13. Союзная советская республика.
- 14. Несущая конструкция здания.
- 15. Горная порода, строительный материал.
- 17. Газ, используемый в производстве красок.
- 18. Горная система в СССР.
- 20. Площадка, оборудованная

- для изготовления сборных строительных конструкций.
- 21. Символ, графический знак студенческого отряда.
- 23. Положительный электрод.
- 25. Углубление в стене здания.
- 28. Часть радиостановки.
- 32. Зеленая масса корнеплодов, идущая на силос.
- 33. Кровельный материал.
- 34. Песня на слова Р. Рождественского.
- 35. Деревянный щиток, инструмент штукатурки.
- 36. Место работы, жительства.
- 37. Постройка на животноводческой ферме.
- 38. Аппарат для дыхания, применяемый в подводных исследованиях.

По вертикали:

- 1. Союзная советская республика.
- 2. Грузовой автомобиль.
- 3. Дорога в лесу с вырубленными деревьями.
- 4. Транспортное подземное сооружение.
- 5. Помост на сваях для причала судов.
- 6. Порт на Дальнем Востоке.
- 9. Самая яркая звезда в созвездии Орла.
- 15. Производственная группа.
- 16. Двига-

- тель.
- 17. Река в Якутии.
- 19. Осветительный или паяльный прибор.
- 22. Землеройная машина для профилирования дорог, планировки откосов.
- 24. Областной центр РСФСР.
- 26. Вал металлургического станка.
- 27. Инструмент плотника, слесаря.
- 29. Геодезический инструмент.
- 30. Огнеупорный слой на стенках трубопроводов.
- 31. Сельский населенный пункт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. НАПЕЧАТАННЫ В № 15

По горизонтали:

- 5. Змееголов.
- 7. Радиометр.
- 9. Агроном.
- 10. Лигнит.
- 11. Флюгер.
- 12. Трпанг.
- 18. Каватина.
- 19. Кергелен.
- 20. Конгенальность.
- 23. Практика.
- 25. Стерлядь.
- 27. Бастион.
- 29. Танкер.
- 30. Помост.
- 31. Регистр.
- 32. Гадолиний.
- 33. Ингибитор.

По вертикали:

- 1. Агатис.
- 2. Болгарка.
- 3. Ваточник.
- 4. Соболь.
- 6. Меридиан.
- 8. Тулебаев.
- 13. Пейзажист.
- 14. Вабочка.
- 15. Пингвин.
- 16. Ортопед.
- 17. Вентиль.
- 21. Арапайма.
- 22. Единство.
- 24. Академик.
- 25. Стоунгинг.
- 26. Берилл.
- 28. «Голуби».

ЖИВАЯ ВЕТВЬ ФАНТАЗИИ

Московский художественный салон, словно магнит, притягивает любителей живописи, когда здесь выставляются художники кино и театра. Весеннюю выставку нынешнего года открывали эскизы декораций к спектаклям Малого театра — «Братья-разбойники» Шиллера и «Каменный хозяин» Леси Украинки — яркие, характерные работы художника Валерия Харитонова.

Цветы. Множество цветов. Из выставленных в салоне многие не имеют названий: они созданы не природой, а самим художником. Каждый из этих цветов расцвел на живой ветви его фантазии.

Выставка не первая в жизни Валерия: любители советской современной живописи во многих странах знают его имя. Как правило, в художественном салоне делается пометка, когда и кем куплена картина. И с каждым годом здесь появляются все новые географические названия: Голландия и США, Индия и Швеция, Англия и Югославия...

Валерий Харитонов — выпускник ВГИКа. После защиты диплома он работал в кино (участвовал, например, в создании фильма «Сотрудник ЧК»), оформлял спектакли в различных театрах.

Обращается Валерий Харитонов и к портрету. И каждый его портрет словно повесть, рассказанная средствами живописи...

Валерий Харитонов остро ощущает родство человека и природы. О чем бы ни рассказывали его картины — о свинцовом небе севера или о золотых подсолнухах юга, о могучих корабельных соснах или о таких слабых на осеннем ветру птичьих гнездах, — они всегда говорят о том, что окружающий нас мир открывает свою суть, только отразившись в чуткой и вдохновенной душе человеческой...

Валерий Харитонов пишет, проводя у мольберта по 12—14 часов в день.

Это почти две рабочие смены. Без выходных.

Георгий НИЖАРАДЗЕ



ДЕВУШКА В САРАФАНЕ.
КАМНИ.



ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИЙ К СПЕКТАКЛЮ «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ К СПЕКТАКЛЮ «КАМЕННЫЙ ХОЗЯИН».

